



Невинный



Габриэле д'Аннунцио

Перевод Н. Бронштейна

Классика в вузе

Габриэле д'Аннунцио

Невинный

«ЭКСМО»

2012

д'Аннунцио Г.

Невинный / Г. д'Аннунцио — «Эксмо», 2012 — (Классика в вузе)

В серии «Классика в вузе» публикуются произведения, вошедшие в учебные программы по литературе университетов, академий и институтов. Большинство из этих произведений сложно найти не только в книжных магазинах и библиотеках, но и в электронном формате. Произведения Габриэле д'Аннунцио (1863–1938) – итальянского поэта и писателя, политика, военного летчика, диктатора республики Фиуме – шокировали общественную мораль эпикурейскими и эротическими описаниями, а за постановку драмы «Мученичество св. Себастьяна» его даже отлучили от церкви. Роман «Невинный» – о безумной страсти и ревности аристократа Туллио – был экранизирован Лукино Висконти.

© д'Аннунцио Г., 2012

© Эксмо, 2012

Содержание

I	30
II	32
III	35
IV	38
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Габриэле д'Аннунцио

Невинный

Блаженны непорочные...

Прийти к судье, сказать ему: «Я совершил преступление. Это бедное дитя не погибло бы, если бы я не убил его. Я, Туллио Эрмиль, я сам убил его. Задумал убийство в своем собственном доме. Совершил его с полной ясностью сознания, по заранее рассчитанному плану, в полнейшей безопасности. И после этого продолжал жить со своей тайной, в своем доме, целый год, до нынешнего дня. Сегодня – годовщина. И вот я – в ваших руках. Выслушайте меня. Судите меня». Могу ли я прийти к судье, могу ли я говорить с ним так?

Не могу и не хочу. Суд людской – не для меня. Никакой земной суд не мог бы судить меня.

И все же я должен обвинить себя, исповедаться. Я должен раскрыть кому-нибудь свою тайну.

Кому?

Вот первое воспоминание.

Это было в апреле. Уже несколько дней мы жили в деревне: я, Джулиана и наши две девочки, Мария и Наталья; мы проводили праздники Пасхи в доме моей матери, в большом старом доме, в имении, называемом Бадиола¹. Шел седьмой год нашего брака.

Прошло уже три года после другой Пасхи, ставшей для меня настоящим праздником прощения, мира и любви в этой белой и уединенной, как монастырь, вилле, пропитанной ароматом левкоев; Наталья, моя младшая дочь, только что вышедшая из пеленок, как цветок из завязи, начинала ходить, а Джулиана выказывала мне полную снисходительность, правда, с несколько меланхоличной улыбкой. Я вернулся к ней, раскаявшийся и покорный, после первой серьезной измены. Моя мать, ничего не знавшая, своими заботливыми руками прикрепила оливковую ветвь к изголовью нашей постели и снова наполнила святой водой маленькую серебряную кропильницу, висевшую на стене.

Но сколько перемен за эти три года! Между мной и Джулианой произошел окончательный и непоправимый разрыв. Число моих проступков по отношению к ней увеличивалось все более и более. Я оскорблял ее самым жестоким образом, без стеснения, без удержу, увлекаемый своей алчностью к наслаждениям, быстрой сменой своих увлечений, любопытством своего извращенного воображения. Я был любовником двух близких ее подруг. Жил несколько недель во Флоренции с Терезой Раффо, пренебрегая всякой предосторожностью. Дрался на дуэли с самозванным графом Раффо, после чего, благодаря стечению разных курьезных обстоятельств, мой злосчастный противник сделался общим посмешищем. И все это было известно Джулиане. И она страдала, но с необыкновенной гордостью, почти молча.

Разговоры между нами по этим поводам были весьма немногочисленны и кратки; объясняясь с нею, я никогда не лгал, думая искренностью уменьшить свою вину в глазах этой кроткой и благородной женщины, которую считал очень умной.

Я в свою очередь знал, что она признавала превосходство моего ума и отчасти извиняла извращения моей жизни не лишенными правдоподобия теориями, защищаемыми мною в противовес нравственным учениям, исповедуемым большинством людей только для виду. Уверенность, что она не будет судить меня, как обыкновенного человека, облегчала в моем сознании тяжесть моих заблуждений. «Ведь она, в конце концов, понимает, – думал я, – что я, будучи не похож на других людей и имея особенный взгляд на жизнь, могу, по справедливости, игнори-

¹ Маленький монастырь.

ровать обязанности, которые другим хотелось бы возложить на меня, могу, по справедливости, презирать мнение других и жить вполне искренно, согласно моему природному призванию».

Я был убежден не только в особенном призвании моего ума, но и в его *исключительности*; и думал, что эта *исключительность* моих ощущений и моих переживаний облагораживала, *выделяла* всякий мой поступок. Гордясь и чванясь этой исключительностью, я не был способен понимать идею жертвенности или самоотречения, как не был способен отказывать себе в выражении или проявлении своих желаний. Но в глубине всех этих тонкостей моей натуры лежал лишь страшный эгоизм, так как, пренебрегая обязанностями, я пользовался выгодами своего положения.

Мало-помалу, переходя от одного злоупотребления к другому, я и в самом деле добился для себя с согласия Джулианы первоначальной свободы, без лицемерия, без уверток, без унизительной лжи. Я изо всех сил старался оставаться во что бы то ни стало искренним, в то время как другие в подобных случаях прибегают к притворству. Пользовался всеми поводами, чтобы установить между мною и Джулианой новый договор братства, чистой дружбы. Она должна была быть моей сестрой, моим лучшим другом.

Моя единственная сестра, Костанца, умерла девяти лет от роду, оставив в моем сердце бесконечное сожаление. Часто с глубокой тоскою думал я об этом маленьком существе, которое не могло еще предложить мне сокровищ своей нежности, сокровищ, казавшихся моему воображению неисчерпаемыми. Среди всех человеческих чувств, среди всех земных привязанностей любовь сестры всегда казалась мне самой возвышенной и утешительной. Я часто думал о великом утраченном утешении с печалью, которую непреложность смерти делала почти мистической. Где найти на земле другую сестру?..

Естественно, предметом этих сентиментальных чаяний стала Джулиана.

Относясь отрицательно к смешению различных чувств, она уже отказалась от всякой ласки, от малейшего проявления страсти. Да и я с некоторых пор не испытывал уже ни тени чувственного возбуждения вблизи нее: чувствуя ее дыхание, вдыхая ее запах, глядя на маленькое темное пятнышко у нее на шее, я оставался совершенно холодным. Мне казалось невозможным, что это та самая женщина, которая некогда бледнела и замирала в моих пылких и страстных объятиях.

Итак, я предложил ей свои братские чувства, и она приняла их, приняла просто. Когда она бывала печальна, мне становилось еще тяжелее при мысли, что мы похоронили нашу любовь навсегда, без надежды на ее воскрешение; при мысли, что наши уста, быть может, не сольются больше никогда, больше никогда... И в слепоте моего эгоизма мне казалось, что она должна хранить в своем сердце благодарность за эту печаль мою, которую я считал неизлечимой; и еще казалось мне, что она должна быть удовлетворена и утешена этой печалью, как отзвуком далекой любви.

Когда-то оба мы мечтали не только о любви, но и о страсти до самой смерти, *usque ad mortem*. Оба мы верили в нашу мечту и не раз, в опьянении, произносили два великих обманчивых слова: *Вечно! Никогда!* Кроме того, мы верили в сродство наших тел, в это необычайно редкое и таинственное сродство, связывающее два человеческих существа страшными узами ненасытного желания; мы верили в это потому, что острота наших чувств не уменьшилась даже тогда, когда, с рождением нами нового существа, таинственный Гений рода достиг при нашем посредстве своей единственной цели.

Иллюзии рассеялись; пламя страсти погасло. Душа моя (клянусь в этом) искренно плакала над руинами. Но как противиться необходимости? Как избежать неотвратимого?

Конечно, было великим счастьем, что после смерти нашей любви, благодаря роковому стечению обстоятельств и к тому же без вины кого-либо из нас, мы могли еще жить в одном и том же доме, сдерживаемые новым чувством, быть может, не менее глубоким, чем прежнее, но, конечно, более возвышенным и необыкновенным. Было великим счастьем, что новая иллюзия

возникла взамен первоначальной и установила между нашими душами обмен чистых переживаний, нежных волнений, утонченных печалей.

Но на самом-то деле, какой цели достигала эта платоническая риторика? Добиться того, чтобы жертва, улыбаясь, шла на заклание.

На самом-то деле новая жизнь, не супружеская, а братская, всецело строилась на одном основании: на абсолютном самоотречении *сестры*. Я вновь возвращал себе свою свободу, мог искать новых острых ощущений, в которых чувствовали потребность мои нервы, мог влюбиться в другую женщину, надолго оставлять свой дом и вновь находить там ожидающую меня *сестру*, находить в моих комнатах явные следы ее забот, находить на моем столе вазу с розами, сорванными ее руками, находить всюду порядок, изящество и чистоту, словно в обители какой-нибудь Грации. Не завидно ли было мое положение? Не была ли особенно драгоценною женщина, соглашавшаяся пожертвовать для меня своей молодостью, довольствуясь лишь благодарным и почти благоговейным поцелуем в гордый и нежный лоб?

Моя благодарность становилась порою такой горячей, что выражалась в бесконечных заботах, нежных и сердечных. Я умел быть лучшим из братьев. В разлуке я писал Джулиане длинные письма, полные грусти и нежности, нередко отправляя их вместе с письмами к своей любовнице, которая не могла бы ревновать меня к ним так же, как не могла ревновать меня к памяти Костанцы.

Все же, даже погружаясь с головой в свою обособленную жизнь, я не мог избежать вопросов, по временам всплывавших в моей душе. Чтобы выдерживать эту чудовищную силу самопожертвования, Джулиана должна была любить меня неземною любовью; и, любя меня и имея возможность быть только моей *сестрою*, она должна была таить в себе смертельное отчаяние. Не безумцем ли был человек, без зазрения совести приносивший в жертву грязным и пошлым страстям эту женщину, скорбную в своей улыбке, простую в своем героизме? Помнится мне (и моя тогдашняя извращенность не укладывается теперь в моей голове), помнится мне, что в числе аргументов, которыми я сам себя успокаивал, самым неопровержимым был следующий: «Так как нравственное величие измеряется силой перенесенных страданий, то ей для того, чтобы воспользоваться случаем быть героиней, необходимо было перенести все те страдания, которые я причинял ей».

Но однажды я заметил, что это отражается и на ее здоровье; я заметил, что ее бледность становится более зловещей, переходя порой в род мрачной тени. Не раз на лице ее я подмечал судороги еле сдерживаемой муки; не раз, в моем присутствии, она не в силах была преодолеть неудержимый трепет, от которого вся содрогалась, и зубы у нее стучали, как в неожиданном пароксизме лихорадки. Однажды вечером из отдаленной комнаты до меня донесся ее раздирающий крик; я бросился туда и увидел ее прислонившейся к шкафу; лицо ее перекошилось, и тело судорожно извивалось, как будто она приняла яд. Схватив мою руку, она сжала ее, как в тисках.

– Туллио! Туллио! Какой ужас! Ах, какой ужас!

Она пристально глядела на меня; не сводила с моих глаз своих расширившихся зрачков, которые в полумраке казались мне необычайно огромными. И я видел, как в этих расширенных зрачках подымались волны неведомого страдания; и этот взгляд, упорный, невыносимый, вдруг пробудил во мне безумный ужас. Были вечерние сумерки, окно было раскрыто, занавески с шумом колыхались, на столе перед зеркалом горела свеча; и, не знаю почему, шум занавесок, быстрое колебание пламени свечи, отраженного бледным зеркалом, показались мне зловещим предзнаменованием, усилили мой страх. У меня мелькнула мысль о яде; в это мгновение она опять не могла сдержать крика; и, обезумев от муки, бросилась в отчаянии ко мне на грудь.

– Ох, Туллио, Туллио! Помоги мне! Помоги!

Застыв от ужаса, я целую минуту не в силах был вымолвить ни слова, не мог шевельнуть рукой.

– Что ты сделала? Что сделала? Джулиана! Скажи, скажи... Что ты сделала?

Пораженная глубокой переменной моего голоса, она немного отстранилась и посмотрела на меня. Должно быть, лицо мое исказилось и стало бледнее ее лица, потому что она тут же упавшим голосом быстро проговорила:

– Ничего, ничего, Туллио, не пугайся. Это ничего, видишь... Это мои обычные боли... знаешь, мои обычные припадки... которые проходят. Успокойся...

Но я, охваченный ужасным подозрением, не верил ее словам. Мне казалось, что все вокруг меня говорит о чем-то трагическом, и какой-то внутренний голос твердил мне: *«Из-за тебя, из-за тебя она хотела умереть. Ты, ты толкнул ее на смерть»*. Я взял ее за руки и почувствовал, что они были холодны, и увидел, что со лба ее скатывается капля пота...

– Нет, нет, ты обманываешь меня, – воскликнул я, – ты обманываешь меня! Умоляю тебя, Джулиана, душа моя, скажи, скажи! Скажи мне: что ты... Молю тебя, скажи мне; что ты... выпила?

И мои искаженные ужасом глаза искали кругом каких-нибудь следов на мебели, на ковре, повсюду...

Тогда она поняла. Снова упала ко мне на грудь и проговорила, содрогаясь и заставляя меня трепетать, проговорила, прильнув губами к моему плечу (никогда, никогда не забуду необыкновенного выражения этих слов):

– Нет, нет, нет, Туллио, нет.

Ах, что в целом мире могло сравниться с головокружительным ускорением нашей внутренней жизни? Мы безмолвно застыли в этой позе среди комнаты; и непостижимо обширный мир чувств и мыслей забушевал во мне, с ужасной яркостью сосредоточившись на одном вопросе. *«А если бы это была правда?»* – спрашивал голос. – *«Если бы это была правда?»*

Джулиана все еще трепетала на моей груди; лицо ее было еще скрыто, и я знал, что она, продолжая испытывать физические муки, думала только о моем подозрении, думала только о моем безумном ужасе.

С моих губ готов был сорваться вопрос: *«Чувствовала ли ты когда-нибудь искушение?»* И потом другой: *«Могла бы ты поддаться искушению?»* Я не произнес ни того ни другого, и, однако, мне казалось, что она угадала их. Нами обоими уже овладела эта мысль о смерти, этот образ смерти; нами обоими овладела реальность трагедии, и мы забыли о породившем ее заблуждении, утратили сознание действительности. И Джулиана вдруг зарыдала, и ее рыдание заставило и меня заплакать; мы смешали наши слезы, горячие слезы, но – увы! – они не могли изменить нашей судьбы.

Я потом узнал, что она уже несколько месяцев страдала женской болезнью, одним из тех ужасных скрытых недугов, которые нарушают в организме женщины все жизненные отправления. Врач, к которому я обратился, дал мне понять, что на довольно долгое время мне придется отказаться от всякой интимной близости с больной и избегать даже самой легкой ласки; и объявил мне, что новые роды могут оказаться для нее роковыми.

Это обстоятельство опечалило меня, но в то же время избавляло меня от двух беспокойств: я убедился, что не был виноват в недуге Джулианы, и получил возможность самым простым образом объяснить моей матери отдельные спальни и прочие перемены, происшедшие в моей домашней жизни. Моя мать как раз в это время должна была приехать в Рим из провинции, где, после смерти моего отца, она проводила большую часть года с моим братом Федерико.

Моя мать очень любила свою молодую невестку. И в самом деле, Джулиана была в ее представлении идеальной женой, *желанной* подругой сына. Она не могла себе представить женщины красивее, нежнее, благороднее Джулианы. Для нее было бы непонятно, что я мог желать

других женщин, забываться в объятиях других, засыпать на груди других. Прожив в течение двадцати лет с любимым человеком, относившимся к ней с неизменным обожанием и неизменной верностью *до самой смерти*, она не знала пресыщения, отвращения, измены и тому подобных пошлостей и низостей, которые таятся в брачном ложе. Она не знала мучений, которые я причинял и продолжал причинять этому дорогому невинному существу. Обманутая великодушным притворством Джулианы, она еще верила в наше счастье. Горе, если бы она узнала!

В то время я был еще во власти Терезы Раффо, жестокой чаровницы, оживлявшей для меня образ чаровницы Мениппа. Помните? Помните слова Аполлония Мениппа в опьяняющей поэме: «O beau jeune homme, tu caresse un serpent; un serpent te caresse!»²

Судьба мне благоприятствовала. Смерть какой-то тетки заставила Терезу уехать из Рима и расстаться со мной на некоторое время. Я мог необычным ухаживанием за своей женой заполнить огромную пустоту, оставленную в моем времени Беляночкой. Да и потрясение того вечера еще не заглохло во мне; и что-то новое, неопределенное зародилось с той поры между мной и Джулианой.

Так как ее физические страдания усиливались, то мы с матерью, правда, с большим трудом, но все же добились ее согласия на необходимую для нее хирургическую операцию, сопряженную со многими неделями абсолютной неподвижности в постели и заботливого ухода. У бедной больной и без того нервы были чрезвычайно напряжены. Долгие приготовления истощили ее и довели до такого отчаяния, что она несколько раз пыталась сброситься с постели, сопротивлялась, не давая себя подвергнуть этой грубой пытке, которая ее оскорбляла, унижала, позорила...

– Скажи, – как-то спросила она меня с горечью, – когда ты думаешь об этом, я не становлюсь тебе противной? Ах, какая гадость!

И лицо ее исказилось гримасой отвращения к самой себе; она нахмурилась и замолчала.

На другой день, когда я входил в ее комнату, она заметила, что меня передернуло от запаха лекарств. И вне себя она закричала, побелев, как ее рубашка:

– Уходи, уходи, Туллио! Прошу тебя. Уезжай! Вернешься, когда я выздоровею. Если ты останешься здесь, то возненавидишь меня. Я теперь так противна, так противна... Не смотри на меня.

Рыдания душили ее. Потом, в тот же самый день, несколько часов спустя, когда я молча стоял возле нее, думая, что она уснула, я услышал зловещие слова, которые она произнесла со странным выражением, словно во сне:

– Ах, если бы я в самом деле сделала это! Это была хорошая мысль!..

– Что ты говоришь, Джулиана?

Она не отвечала.

– О чем ты думаешь, Джулиана?

Она ответила только движением губ, которые должны были изобразить улыбку, но не могли изобразить ее.

Мне показалось, что я понял. Бурная волна жалости, нежности и сострадания нахлынула на меня. Я отдал бы все, чтобы она могла читать в моей душе, чтобы ей понятно стало мое волнение, неуловимое, невыразимое и потому тщетное. «Прости, прости меня. Скажи, что сделать мне, чтобы ты простила меня, чтобы ты забыла все зло... Я вернусь к тебе и буду только твоим, навсегда. Только тебя одну в жизни любил я настоящей любовью; и только тебя одну люблю. Всегда душа моя возвращается к тебе, ищет тебя, тоскует по тебе. Клянусь тебе: вдали от тебя я никогда не испытывал истинной радости, ни на один миг не доходил до полного забвения; никогда, никогда; клянусь тебе в том. Ты одна на свете – воплощение доброты и нежности. Ты – самое доброе и самое нежное существо, которое я мог когда-либо представить себе; ты

² «О прекрасный юноша, ты ласкаешь змею, змея тебя ласкает» (фр.).

– Единственная. И я мог оскорблять тебя, мог причинять тебе страдания, мог довести тебя до мысли о смерти, как о чем-то желанном! Ах, ты простишь меня, но я никогда не смогу простить себе; ты забудешь, но я не забуду. Мне всегда будет казаться, что я недостойн тебя; и также будет казаться мне, что преклонение перед тобой в течение всей моей жизни не вознаградит тебя. И с этих пор, как когда-то, ты будешь моей возлюбленной, моим другом, моей сестрой; как прежде, ты будешь моим хранителем и руководительницей. Я все скажу тебе, все открою. Ты будешь моей душой. И ты выздоровеешь. Я исцелю тебя. Ты увидишь, на какую нежность я буду способен, чтобы вылечить тебя... Ах, ты знаешь это. Вспомни! Вспомни! И тогда ты была больна и хотела, чтобы только я один лечил тебя. И я не отходил от твоего изголовья, ни днем, ни ночью. И ты говорила: никогда Джулиана *не забудет этого*, никогда. И слезы струились из глаз твоих, и я с трепетом пил их. Святая! Святая! Вспомни... И когда ты встанешь, когда начнешь выздоравливать, мы уедем туда, вернемся в Виллалиллу. Ты будешь еще немного слаба, но тебе будет так хорошо... И сразу вернется к тебе твоя прежняя жизнерадостность, и я заставлю тебя улыбаться, заставлю тебя смеяться. К тебе вернется твой чарующий смех, который вливал свежесть в мое сердце; ты снова станешь прежней восхитительной девочкой, снова будешь носить спущенную косу, как мне нравилось. Мы молоды. Если хочешь, мы снова обретем счастье. Будем жить, будем жить...» Так говорил я про себя, но слова не срывались с моих губ. Я был взволнован, глаза мои были влажны, и все же я знал, что это волнение было преходящим и что эти обещания были лживы. И знал я также, что Джулиана не поддастся бы обману и ответила бы мне своей слабой недоверчивой улыбкой, уже не раз появлявшейся на ее устах. Эта улыбка говорила: «Да, я знаю, что ты добр и не хотел бы причинить мне страдания; но ты не хозяин своей воли, ты не можешь противиться влекущей тебя судьбе. Зачем же ты хочешь, чтобы я обманывала саму себя?»

В этот день я молчал; и в следующие дни, хотя я несколько раз испытывал то же самое волнующее меня смутное желание покаяния, строил планы и переживал нелепые грезы, я не осмеливался сказать себе: «Чтобы вернуться к ней, ты должен оставить все, что тебе нравится, бросить женщину, которая тебя развращает. Хватит ли у тебя силы сделать это?» И я отвечал самому себе: «Кто знает!» И жаждал со дня на день возврата этой силы, но она не возвращалась; ждал со дня на день события (сам не знаю какого), которое вызвало бы мою решимость, сделало бы ее неизбежной. И старался вообразить себе нашу новую жизнь, медленный расцвет нашей законной любви, необыкновенное ощущение некоторых возобновленных переживаний. «Вот мы отправимся туда, в Виллалиллу, в тот дом, где хранятся наши наиболее светлые воспоминания; и мы будем там только вдвоем, а Марию и Наталью оставим вместе с моей матерью в Бадиоле. Стоит мягкая погода; и выздоравливающая все время опирается на мою руку, и мы ходим по знакомым тропинкам, где каждый шаг наш пробуждает какое-нибудь воспоминание. И я вижу, как время от времени на твоём бледном лице внезапно вспыхивает легкий румянец; но мы будем чуть робкими друг с другом; порой будем казаться задумчивыми; будем иногда избегать смотреть друг другу в глаза. Почему?.. Но вот наконец, возбужденный напоминаниями этих мест, я осмелюсь заговорить о нашем безумном упоении былых времен. «Ты помнишь? Помнишь? Помнишь?» И мало-помалу мы оба почувствуем, как растет в нас возбуждение, становится неудержимым; и оба, в один и тот же миг, в забвении бросимся друг к другу в объятия, будем целовать друг друга в губы, и нам покажется, будто мы лишаемся чувств. Она и в самом деле лишится чувств; и я поддержу ее своими руками, называя ее именами, которые первыми придут на ум, подсказанные величайшим приливом нежности. Она вновь откроет глаза, взгляд которых утратит пелену, вольет на мгновение в меня свою душу, покажется мне преобразившейся. И так нас охватит прежняя страсть, и мы вновь очутимся во власти великих грез. Нами овладеет одна-единственная, неотступная мысль; будет волновать нас необъяснимое беспокойство. Я с дрожью в голосе спрошу ее:

– Ты выздоровела?

И она по тону моего голоса угадает смысл, скрытый в этом вопросе. И, будучи не в силах сдержать трепет, ответит:

– *Нет еще!..*

И вечером, расставаясь, расходясь по своим комнатам, мы почувствуем, что умираем от томления. Но вот, как-нибудь утром, глаза ее скажут мне неожиданным взглядом: «*Сегодня, сегодня...*» И, боясь этой божественной и страшной минуты, она под каким-нибудь ребяческим предлогом будет избегать меня, чтобы продлить наши мучения. Она скажет:

– Идем, идем куда-нибудь...

Мы выйдем из дому: будет облачный день, весь белый, полный легкой истомы, несколько душный. Будем ходить до утомления. Вот на наши руки, на наше лицо начинают падать теплые, как слезы, капли дождя... Я говорю ей изменившимся голосом: «Вернемся». И у самого порога неожиданно заключаю ее в объятия, чувствую, как она замирает, словно лишаясь чувств; несу ее по лестнице, не ощущая никакой тяжести. «Наконец-то, наконец!» Сила моего желания ослабляется опасением причинить ей боль, вырвать из ее уст крик страдания. Наконец! И тела наши толкнет друг к другу божественное и страшное чувство, никогда не изведанная страсть, и они замрут в истоме. И потом она будет казаться мне почти умирающей, с лицом, омытым слезами, бледным, как подушка».

Ах, такой же, умирающей, казалась она мне в то утро, когда врачи усыпляли ее хлороформом и она, ощущая, что погружается в бесчувствие смерти, пыталась два-три раза протянуть ко мне руки, пыталась назвать меня по имени. С искаженным от боли лицом я вышел из комнаты и увидел хирургические инструменты, какую-то острую ложку, марлю, вату, лед и другие предметы, приготовленные на столе. Два долгих, бесконечных часа прождал я, усиливая свои страдания приливом разыгравшегося воображения. И все существо мое было охвачено безумной жалостью к этой женщине; инструменты хирурга не только терзали ее бедное тело, но и копались в тайниках души, в самых сокровенных переживаниях, свойственных женщине. Жалость к этой и другим женщинам, волнуемым смутными стремлениями к идеальной любви, обманутым лукавыми мечтами, какими окутывает их мужское вожделение, жаждущим подняться высоко и вместе с тем, благодаря неизменным законам природы, таким же слабым, нездоровым и несовершенным, как другие самки. Природа навязывает им права продолжения рода, терзает их женские органы, мучит их ужасными болезнями, подвергает их всяким испытаниям. В этой женщине, как и во всех прочих, я с ужасной ясностью, трепеща всеми фибрами, увидел тогда изначальную язву, постыдную, вечно зияющую рану, «кровоточивую и зловонную»...

Когда я вернулся в комнату Джулианы, она находилась еще под действием хлороформа, без сознания; без слов; она все еще была похожа на умирающую. Мать моя была еще страшно бледна и взволнованна. По-видимому, операция прошла благополучно; врачи, казалось, были довольны. Воздух был пропитан запахом йодоформа. В углу сестра милосердия, англичанка, наполняла льдом пузырь; ассистент свертывал бинт. Мало-помалу все успокаивалось и пришло в порядок.

Больная долго оставалась в этом сонном состоянии; поднималась легкая лихорадка. Ночью, однако, у нее начались боли в желудке и неудержимая рвота. Лекарства не успокаивали ее. И я, вне себя, при виде этих нечеловеческих страданий и думая, что она умирает, не помню, что говорил, не помню, что делал. Я умирал вместе с ней.

На следующий день состояние больной улучшилось, и затем, изо дня в день, ей становилось все лучше и лучше. Силы медленно восстанавливались.

Я не отходил от ее изголовья. Старался всеми моими действиями напомнить ей свое поведение во время первой ее болезни; но чувство теперь было иное, неизменно *братское*. Часто, читая ей какую-нибудь любимую ею книгу, я ловил себя на том, что мысль моя была занята какой-нибудь фразой из письма отсутствовавшей любовницы, которую я не мог забыть.

Порой, однако, когда я с неохотой отвечал на ее письма и чувствовал к ней почти отвращение, в эти странные минуты, присущие даже самой сильной страсти во время разлуки, я повторял самому себе: «Кто знает!»

Однажды моя мать сказала Джулиане в моем присутствии:

– Когда ты встанешь и будешь в состоянии передвигаться, мы все вместе переедем в Бадиолу. Не правда ли, Туллио?

Джулиана взглянула на меня.

– Да, мама, – ответил я, не колеблясь и не задумываясь. – А мы с Джулианой поедем как-нибудь и в Виллалиллу.

Она снова взглянула на меня и вдруг улыбнулась неожиданной, неопикуемой улыбкой, с выражением почти детской доверчивости; улыбка эта напоминала улыбку больного ребенка, которому неожиданно много пообещали. И опустила глаза; и продолжала улыбаться с полузакрытыми глазами, которые видели что-то далекое, очень далекое. И улыбка становилась все слабее и слабее, не исчезая полностью.

Как я восхищался ею! Как обожал ее в эту минуту! Как живо чувствовал, что ничто на свете не стоит простого волнения, вызываемого чувством доброты!

Бесконечная доброта исходила от этой женщины, переполняла все мое существо, проникала в мое сердце. Джулиана лежала на постели, опираясь на две или три подушки, и лицо ее, обрамленное распущенными каштановыми волосами, начинало приобретать необычайную тонкость, какую-то видимую нематериальность. Рубашка была застегнута у шеи и у кистей рук; руки ее лежали крест-накрест поверх простыни, такие бледные, что только голубые жилки отличали их от полотна.

Я взял одну из этих рук (моя мать уже вышла из комнаты) и чуть слышно проговорил:

– Значит, вернемся... в Виллалиллу?

Выздоровливающая ответила:

– Да.

И мы умолкли, чтобы продлить свое волнение, чтобы сохранить свою иллюзию. Оба мы сознавали глубокое значение, скрытое за этими немногими словами, которыми мы обменялись вполголоса. Острое, инстинктивное чувство предупреждало нас: не настаивать, не договаривать, не идти далее. Если бы мы продолжали говорить, то очутились бы перед реальностью, несовместимой с иллюзией, в которую погружались наши души, начинавшие мало-помалу упиваться очарованием.

Это упоение благоприятствовало мечтам, благоприятствовало забвению. Целый день после этого мы оставались почти совсем одни, читая с перерывами, наклоняясь вместе над одной и той же страницей, пробегая глазами одну и ту же строку. У нас был какой-то томик стихов; и мы вкладывали в стихи значение, которого они не имели. Молча говорили мы друг с другом устами чарующего поэта. Я отмечал ногтем строфы, которые, казалось, соответствовали моему еще скрытому чувству.

Je veux, guidé par vous, beaux yeux aux flammes douces,
Par toi conduit, o main où tremblera ma main.
Marcher droit, que ce soit par des sentiers de mousses
Ou que rocs et cailloux encombrant le chemin.
Oui, je veux marcher droit et calme dans la Vie...³

³ Ведомый вами, о прекрасные глаза, в которых горит нежный пламень, ведомый тобою, дрожащая в моей руке рука, по мшистым ли тропинкам, по скалистым ли дорогам, ведомый вами, хочу я идти прямо и без страха в Жизнь (фр.).

И она, прочитав эти строки, на мгновение откинулась на подушки, закрывая глаза, с чуть заметной улыбкой.

Toi la bonté, toi le sourire,
N'es tu pas le conseil aussi,
Le bon conseil loyal et brave...⁴

И я видел, как на груди ее поднималась рубашка в ритм ее дыхания, с какой-то мягкостью, которая начинала волновать меня, как и легкий аромат ириса, которым были пропитаны простыни и подушки. Я желал и ждал, чтобы она, охваченная внезапной истомой, обвила мою шею рукою, прижала свою щеку к моей так, чтобы я почувствовал прикосновение угла ее губ. Она положила свой тонкий указательный палец на страницу и стала отмечать ногтем на полях, руководя моим взволнованным чтением.

La voix vous fut connue (et chère?)
Mais à présent elle est voile
Comme une veuve désolée...
Elle dit, la voix reconnue,
Que la bonté c'est notre vie...
Elle parle aussi de la gloire
D'être simple sans plus attendre,
Et de noces d'or et du tender
Bonheur d'une paix sans victoire.
Accueillez la voix qui persiste
Dans son naïf épithalame,
Allez, rien n'est meilleur à l'âme
Que de faire une âme moins triste!⁵

Я взял ее за руку и, медленно склоняя голову, пока не коснулся губами ее ладони, прошептал:

– Ты могла бы забыть?

Она закрыла мне рот и произнесла свое великое слово:

– Молчание.

Тут вошла моя мать и сообщила, что пришла госпожа Таличе. Я прочел на лице Джулианы неудовольствие и сам почувствовал глухое раздражение против назойливой гостьи. Джулиана вздохнула:

– О боже мой!

– Скажи ей, что Джулиана отдыхает, – почти с мольбой подсказал я матери.

Она жестом дала мне понять, что гостья ждет в соседней комнате. Нужно было принять ее.

Эта госпожа Таличе была злой и надоедливой болтушкой. Она то и дело поглядывала на меня с видимым любопытством. Когда моя мать во время беседы случайно сказала, что я сижу возле больной почти все время с утра до вечера, госпожа Таличе, взглянув на меня, воскликнула с нескрываемой иронией:

⁴ Ты – доброта, ты – улыбка, ты – добрый и честный советник... (фр.)

⁵ Вам знаком этот голос (был ли он вам дорог?). Теперь он словно окутан дымкой вуали, как безутешная вдова. И этот вновь звучащий голос говорит, что смысл нашей жизни в добре, он говорит, что достойно быть скромным, не ожидая награды, и о золотой свадьбе, и о счастливом мире, наступившем без военных побед. Приветствуйте голос, который звучит в наивной брачной песне. Нет ничего прекраснее для души, чем утешить печаль другой души (фр.).

– Вот это образцовый муж!

Мое раздражение усилилось до того, что я, воспользовавшись каким-то предлогом, решил уйти.

Я вышел из дому. На лестнице встретил Марию и Наталью, возвращавшихся в сопровождении гувернантки. Они по обыкновению бросились ко мне с бесконечными ласками; Мария, старшая, передала мне несколько писем, взятых ею у швейцара. Между ними я сейчас же узнал письмо любовницы, которая была далеко. Почти с нетерпением я освободился от ласк детворы. Вышел на улицу и остановился, чтобы прочесть письмо.

Это было краткое, но страстное послание из двух или трех полных необычайной остроты фраз, которыми Тереза умела волновать меня. Она сообщала мне, что между 20-м и 25-м числами этого месяца будет во Флоренции и желала бы встретиться там со мной, «как бывало». Обещала дать мне более точные сведения относительно свидания.

Все призраки грез и недавних волнений разом отхлынули от моей души, как цветы дерева, затрясшегося от сильного порыва ветра... И как упавшие цветы не возвращаются на дерево, так и эти призраки покинули душу мою: они стали для меня чужими. Сделал над собой усилие, попробовал взять себя в руки; ничего не вышло. Принялся бесцельно бродить по улицам, зашел в кондитерскую, потом в книжный магазин; машинально купил конфет и книги. Смеркалось; начинали зажигать фонари; улицы наполнились гуляющими; две-три дамы ответили на мой поклон из своих экипажей; болтая и смеясь, быстро прошел мимо меня один из приятелей под руку со своей возлюбленной, державшей в руках букет роз. Тлетворное дыхание городской жизни окутало меня, вновь пробудило во мне любопытство, жадность, зависть. Моя кровь, воспламененная воздержанием последних недель, словно вспыхнула внезапным огнем. С необычайной ясностью в мозгу моем промелькнули одни за другими образы. Отсутствующая несколькими словами своего письма вновь завладела мной. И все желание мое без удержу понеслось к ней.

Но когда первое возбуждение улеглось, я, поднимаясь по лестнице своего дома, понял всю важность того, что случилось, что я сделал, понял, что несколько часов назад я все-таки опутал себя новой связью, связал себя словом, дал какое-то обещание, молчаливое, но торжественное обещание существу, еще слабому и больному; понял, что не мог бы отступить, не совершив подлости. И тут я пожалел, что не отнесся с недоверием к тому обманчивому волнению, пожалел, что чересчур поддался этой сентиментальной слабости! Тут же проверил свои поступки и свои слова за этот день с холодной расчетливостью лукавого купца, выискивающего, к чему бы придраться, чтобы расторгнуть уже заключенный договор. Увы! Мои последние слова были слишком многозначительны. Эта фраза: «Могла бы ты забыть?» – произнесенная тем тоном, после чтения тех стихов, равнялась окончательному закреплению договора. А разве это «молчание» Джулианы не было подобно печати?

«Неужели, однако, – думал я, – на этот раз она действительно поверила в мое исправление? Разве не относилась она всегда несколько скептически к моим благим побуждениям?» И снова представилась мне ее слабая, недоверчивая улыбка, уже не раз появлявшаяся на ее губах. «Если бы она в глубине души не поверила мне, если бы ее иллюзии вдруг исчезли, быть может, мое отступление не было бы ей ударом, не задело бы ее, не слишком возбудило бы ее негодование; и этот эпизод не имел бы никаких последствий, а я вновь стал бы свободным, как прежде. Виллалилла снова сделалась бы лишь ее мечтой». И опять мне представилась другая улыбка, новая, доселе незнакомая, доверчивая улыбка, которая показалась на ее губах при упоминании о Виллалилле. «Что делать? Что предпринять? Как сдержать себя?» Письмо Терезы Раффо невыносимо жгло меня.

Войдя в комнату Джулианы, я по первому взгляду на нее понял, что она ждала меня. Она показалась мне оживленной, глаза ее блеснули, бледность была более одушевленной, более свежей.

– Туллио, где ты был? – смеясь, спросила она меня.

Я ответил:

– Меня обратила в бегство госпожа Таличе.

Она продолжала смеяться звонким молодым смехом, который совсем преображал ее. Я подал ей книги и коробку конфет.

– Для меня? – воскликнула она, сияя от радости, словно маленькая лакомка; и торопливо принялась открывать коробку, сопровождая свои движения маленькими грациозными жестами, вновь пробуждавшими в моей душе обрывки далеких воспоминаний. – Для меня?

Взяла конфету, поднесла было ее ко рту, немного поколебалась, уронила ее, отодвинула коробку и проговорила:

– Потом, потом...

– Знаешь, Туллио, – заметила мне мать, – она еще ничего не ела. Решила ждать тебя.

– Ах, я еще не сказала тебе... – произнесла Джулиана, покраснев, – я еще не сказала тебе, что в твоё отсутствие у меня был доктор. Он нашел, что мне значительно лучше. В четверг я могу встать. Понимаешь, Туллио? В четверг я могу встать... – И прибавила: – А через десять, самое большее через пятнадцать дней я могу уже ехать в поезде.

И после некоторого раздумья проговорила тихим голосом:

– Виллалилла!

Значит, она ни о чем другом не думала, мечтала только об этом. Она *поверила, продолжала верить*. Я с трудом скрывал свою тревогу. Занялся, быть может, с излишним усердием приготовлением к ее незатейливому обеду, собственноручно положил на ее колени доску, заменявшую стол.

Она следила за всеми моими движениями ласковым взглядом, причинявшим мне страдания. «Ах, если бы она могла догадаться!» Вдруг моя мать воскликнула полным искренности голосом:

– Как ты красива сегодня, Джулиана!

В самом деле, какое-то необычное воодушевление оживляло черты ее лица, зажигало ее глаза, молодило ее. Услышав восклицание моей матери, она покраснела, и след этого румянца весь вечер оставался на ее щеках.

– В четверг я встану, – повторяла она. – В четверг, через три дня! Пожалуй, я не буду в состоянии двинуться с места...

Она то и дело возвращалась к своему выздоровлению, к нашему близкому отъезду. Расспрашивала мою мать, не изменилось ли что-нибудь на вилле, в саду.

– Я посадила росток ивы у самого пруда, в последний раз, когда мы там были. Помнишь, Туллио? Кто знает, найду ли я ее там?..

– Да, да, – прервала ее мать, сияя, – ты найдешь ее там; она выросла, превратилась в дерево. Спроси Федерико.

– Правда? Правда? Скажи-ка мне, мама...

Казалось, эта маленькая подробность имела для нее в эту минуту неоценимую важность. Она стала разговорчивою. Я удивился, что она так поддалась иллюзии, удивлялся, что мечта так преобразила ее. «Почему, почему на этот раз она *поверила*? Как она позволила себе так увлечься? Кто влил в нее эту необычную веру?» И мысль о том, что я в ближайшем будущем совершу подлость, и, быть может, неизбежную подлость, леденила меня. «Почему неизбежную? Значит, я никогда не сумею освободиться? Я *должен, я должен* сдержать свое обещание. Мать моя была свидетельницей моего обещания, и я сдержу его во что бы то ни стало». И, сделав над собой усилие, встряхнув, если можно так выразиться, свою совесть, я размел вихрь сомнений; я вернулся к Джулиане, почти совершив насилие над побуждениями своей души.

Она еще восхищала меня, вся возбужденная, оживленная, помолодевшая. Она напоминала мне прежнюю Джулиану; сколько раз, среди спокойного течения семейной жизни, я

неожиданно поднимал ее на руки, словно охваченный внезапным безумием, и стремительно уносил на брачное ложе...

– Нет, нет, мама, не заставляй меня больше пить, – просила она, удерживая мою мать, которая подливала ей вина. – Я незаметно слишком много выпила. Ах, это «шабли»! Помнишь, Туллио?

И засмеялась, заглядывая мне в глаза, вызывая во мне воспоминание о нежной сцене, над которой носился аромат этого прелестного вина, горьковатого и золотистого, самого любимого ее напитка.

– Помню, – ответил я.

Она полузакрыла веки; ресницы у нее слегка дрожали. Потом проговорила:

– Здесь жарко. Правда? У меня горят уши.

И сжала голову ладонями, чтобы почувствовать жар. Горевшая у постели лампа бросала яркий отблеск на продолговатую линию лица, озаряла несколько светло-золотых прядей ее густых каштановых волос, среди которых алело маленькое, прозрачное ушко.

Вдруг, когда я помогал ей убирать посуду (моя мать и горничная на минуту вышли в соседнюю комнату), она тихо позвала меня:

– Туллио!

И, порывисто привлекая меня, поцеловала в щеку.

Не должна ли была она этим поцелуем снова навсегда овладеть мною, всецело, душой и телом! Не означал ли этот поступок столь сдержанной и гордой женщины, что она хотела забыть все, что она уже забыла, чтобы начать со мной новую жизнь? Могла ли она вновь отдаться моей любви с большим очарованием, с большей доверчивостью? Сестра вдруг снова начала превращаться в возлюбленную. Безгрешная сестра сохранила в своей крови, в более глубоких тайниках своего существа, память о моих ласках, эту память чувственных переживаний организма, столь живучую и столь постоянную в женщине. Оставшись наедине со своими думами, я был весь охвачен видениями давнишних дней, давнишних вечеров. Июньские сумерки, жаркие, розовые, насыщенные таинственными ароматами, страшные для одиноких, для тех, кто оплакивает или жаждет. Я вхожу в комнату. Она сидит у окна, с книгой на коленях, изнемогающая от истомы, бледная, как будто близкая к обмороку.

– Джулиана! – Она вздрагивает и поднимается. – Что с тобой?

Отвечает:

– Ничего. – И чуть заметная тень, словно стремление заглушить страдание, проходит в ее черных глазах. Сколько раз со дня полного расторжения нашего союза она испытывала подобные муки в своем бедном теле? Моя мысль остановилась на образах, вызванных тем давним малозначащим фактом. Это необычайное возбуждение Джулианы напомнило мне некоторые случаи чрезмерной остроты ее физической чувствительности. Болезнь, быть может, увеличила, обострила эту чувствительность. А я, развращенный до мозга костей, подумал, что хрупкая жизнь выздоравливающей могла бы вспыхнуть и запылать под моими ласками; я подумал еще, что сладострастие в том образе могло бы получить почти привкус кровосмешения. «А если она умрет?» – подумал я. И мне вспомнились предостерегающие слова хирурга. Но вследствие жестокости, которая в скрытом виде свойственна всем чувственным людям, опасность не испугала, а еще сильнее привлекла меня. Я принялся изучать свое чувство с каким-то горьким наслаждением, смешанным с отвращением, которое я испытывал при анализе всех внутренних проявлений, являвшихся, как мне казалось, доказательством коренящейся в глубине человека низости. «Почему натуре человеческой свойственна эта ужасная способность чувствовать большую остроту наслаждения тогда, когда сознаешь муки жертвы, от которой берешь свое наслаждение? Почему зародыш столь гнусной физической извращенности гнездится в каждом человеке, который любит и жаждет удовлетворения своей страсти?»

Эти размышления скорее, нежели первоначальное произвольное чувство доброты и жалости, эти полные искусственности размышления привели к тому, что в эту ночь укрепилось во мне решение, благоприятное для поддавшейся иллюзиям женщины. Отсутствующая продолжала отравлять меня даже издали. Чтобы победить сопротивление своего эгоизма, мне пришлось противопоставить образу чарующей развращенности этой женщины образ новой, неизведанной развращенности, которую я собирался культивировать без опасности для себя, в стенах собственного дома. И вот, со своего рода искусством алхимика, я сопоставил разнообразные *изыскания* своего духа, проанализировал ряд особых «душевных состояний», вызванных во мне Джулианой на различных стадиях нашей совместной жизни, и извлек из них некоторые элементы, которые могли бы послужить мне для создания нового положения, искусственного, но особенно пригодного для нарастания интенсивности тех ощущений, какие мне хотелось пережить. Так, например, намереваясь придать большую остроту «вкусу кровосмешения», которое привлекло меня, возбуждая мое преступное воображение, я старался представить себе моменты, когда с большей глубиной оживало во мне «братское чувство» и когда отношение ко мне Джулианы как сестры казалось мне наиболее искренним.

И тот, кого занимали эти недостойные изыскания рафинированного маньяка, был тем самым человеком, который несколько часов назад чувствовал, как сердце его трепетало от простого прилива доброты, от света неожиданной улыбки! Из таких противоречивых побуждений составлялась его жизнь! Нелогичная, отрывочная, бессвязная. В нем уживались стремления всякого рода, всевозможные противоположности, и среди этих противоположностей – все последовательные их ступени, и среди этих стремлений – все сочетания их. Сообразно времени и месту, сообразно различному сцеплению обстоятельств, маловажных фактов и слов, сообразно сокровенным внутренним влияниям неустойчивая основа его существа облекалась в переменчивые, зыбкие, странные образы. Особое органическое состояние его существа усиливало те или иные стремления его, становившиеся центром притяжения, к которому тяготели состояния и стремления, находившиеся в прямой ассоциативной связи с первыми, и постепенно эти ассоциации захватывали все больший и больший круг. Тогда центр тяжести его личности оказывался перемещенным, и она становилась другой. Безмолвными волнами крови и идей на подвижной основе его существа созидался постепенно или мгновенно расцвет новой личности. Он был *многолик*.

Я останавливаюсь на этом эпизоде, потому что он на самом деле был решающим прологом к дальнейшему.

Проснувшись на следующее утро, я сохранил лишь смутное представление о происшедшем. Томительная жажда порока вновь овладела мной, лишь только я взглянул на второе письмо Терезы Раффо, в котором она назначила мне свидание во Флоренции на 21-е число, давая мне точные наставления. 21-го была суббота, а 19-го, в четверг, Джулиана в первый раз должна была подняться с постели. Я долго взвешивал все возможности. Взвешивая их, начинал поддаваться. Да, сомнения нет: разрыв необходим, неизбежен. Но каким образом устроить его? Под каким предлогом? Могу ли я простым письмом уведомить Терезу о своем решении? Мой последний ответ еще дышал горячей страстью, безумным желанием. Как оправдать эту внезапную перемену? Заслуживает ли моя бедная подруга такого неожиданного и грубого удара? Она очень любила меня и любит; ради меня она пренебрегла даже опасностью. Я тоже любил ее... люблю ее. Наша великая и своеобразная любовь известна всем; ей даже завидуют, даже подкапываются под нее... Сколько мужчин добиваются чести заступить на мое место! Бесчисленное множество. Я быстро перечислил наиболее опасных соперников, наиболее вероятных преемников, представляя их в своем воображении. Найдется ли в Риме блондинка очаровательнее и соблазнительнее Терезы? И снова внезапная вспышка, воспламенившая вчера вечером мою кровь, пробежала по всем моим жилам. И мысль о добровольном отречении показалась мне нелепой, недопустимой. Нет, нет, у меня никогда не хватит сил, не захочу, никогда не смогу!

Преодолев волнение, я продолжал бессмысленное обсуждение своего положения, глубоко уверенный в том, что с наступлением рокового часа я не буду в состоянии остаться дома. Все-таки я имел мужество, выйдя из комнаты выздоравливающей и еще весь дрожа от чувства жалости, написать той, которая звала меня: «Не приеду». Придумал предлог; и, хорошо помню, почти инстинктивно выбрал такой, который не показался бы ей слишком важным. «Ты, значит, надеешься, что она не обратит внимания на этот предлог и настоит на твоём приезде?» – спросил меня внутренний голос. Этот сарказм не давал мне покоя; раздражение и жестокое беспокойство овладели мной и не покидали меня. Я делал невероятные усилия, чтобы притворяться перед Джулианой и матерью. Старался избегать уединения с бедной обманутой женщиной, и всякий раз мне казалось, что в ее кротких, влажных глазах я читаю начало сомнения и вижу какую-то тень, омрачающую ее чистое чело.

В среду я получил повелительную и грозную телеграмму (разве я не ожидал ее?): «Или приедешь, или больше не увидимся. Отвечай». И я ответил: «Приеду».

Тотчас же после этого поступка, совершенного в состоянии такого же бессознательного возбуждения, каким сопровождалась все решительные поступки моей жизни, я почувствовал необычайное облегчение, видя, что ход событий становится более определенным. Чувство собственной безответственности, сознание неизбежности того, что происходило и должно произойти, превратились во мне в глубочайшие переживания. Если, даже сознавая причиняемое зло и осуждая самого себя, я не могу поступить иначе, значит, я повинуюсь какой-то высшей, неведомой силе. Я – жертва жестокой, насмешливой и непобедимой Судьбы.

Тем не менее, переступив порог комнаты Джулианы, я почувствовал на сердце страшную тяжесть и, шатаясь, остановился за скрывавшими меня портьерами. «Достаточно ей взглянуть на меня, чтобы угадать все», – подумал я в страшном волнении. И уже готов был вернуться назад. Но она спросила меня голосом, который никогда еще не казался мне таким нежным:

– Туллио, это ты?

Тогда я сделал еще шаг. Увидав меня, она закричала:

– Туллио, что с тобой? Тебе дурно?

– Головокружение... Но оно прошло, – ответил я и, успокоившись, подумал: «Она не догадалась».

Она в самом деле была далека от подозрения, и мне это казалось даже странным. Следовало ли мне приготовить ее к тяжелому удару? Должен ли я говорить откровенно или, из сострадания к ней, прибегнуть к какой-нибудь лжи? Или уехать неожиданно, не предупредив ее, оставив ей письмо с признанием? Какой выход предпочесть, чтобы облегчить себе стремление вырваться, а для нее – смягчить неожиданность?

Увы, обдумывая это трудное положение, я, благодаря прискорбному инстинкту, заботился не столько об ее облегчении, сколько о своем. И, конечно, избрал бы неожиданный отъезд и письмо, если бы меня не удержало уважение к матери. И на этот раз я не избег внутреннего сарказма. Какое великодушное сердце! Однако ведь этот испытанный способ так удобен, так устраивает тебя... И на этот раз, если ты захочешь, жертва, чувствуя приближение смерти, будет стараться улыбаться. Итак, доверься ей и не заботься ни о чем другом, великодушное сердце.

Поистине, иногда человек находит какое-то особенное удовольствие в искреннем и беспощадном презрении к самому себе.

– О чем ты думаешь, Туллио? – спросила меня Джулиана, приложив указательный палец к моему лбу, между бровями, как бы для того, чтобы этим нежным жестом остановить течение мысли.

Я взял ее за эту руку, не отвечая. И одного этого молчания, казавшегося томительным, достаточно было для того, чтобы снова изменить состояние моего духа; нежность голоса и жеста ничего не подозревавшей женщины смягчила меня, вызвала во мне то трепетное чув-

ство, которое рождает слезы, которое называется *жалостью к себе*. Я почувствовал острое желание вызвать к себе сострадание. В то же время кто-то внутри меня нашептывал мне: «Воспользуйся создавшимся настроением, воздержись пока от откровенности. Усиливая его, ты можешь легко довести себя до слез. Ты хорошо знаешь, какое необычайное впечатление производят на женщину слезы любимого человека. Джулиана будет взволнована ими, и ей покажется, что тебя терзает жестокое страдание. А завтра, когда ты ей скажешь правду, воспоминание об этих слезах возвысит тебя в ее душе. Она может подумать: «Ах, вот почему вчера он так безудержно плакал. Бедный друг!» И тебя не сочтут отвратительным эгоистом; будет казаться, что ты тщетно боролся изо всех сил против какого-то неведомого, мрачного рока; будет казаться, что ты одержим какой-то неизлечимой болезнью и носишь в своей груди истерзанное сердце. Пользуйся же, пользуйся!»

– У тебя есть что-нибудь *на сердце*? – спросила Джулиана тихим, ласковым голосом, полным доверчивости.

Я продолжал стоять опустив голову; и был, конечно, взволнован. Но подготовка к этим *полезным для меня* слезам отвлекло мое чувство, задержало свободное развитие его и потому замедлило физиологический феномен слез. «А что, если я не смогу заплакать? Если слезы *не выступают* у меня?» – подумал я со смешным и ребяческим ужасом, как будто все зависело от этого ничтожного материального явления, которого моей воле не удавалось вызвать. А некто, все тот же, продолжал нашептывать: «Экая жалость! Экая жалость! Более благоприятного момента и быть не может. В комнате почти ничего не видно. Как эффектно: рыдание в полумраке!»

– Туллио, ты мне не отвечаешь? – добавила, помолчав, Джулиана, проводя рукой по моему лбу и волосам, чтобы я поднял голову. – Мне ты можешь сказать все. Ты знаешь это.

Ах, поистине, никогда после этого я не слышал больше столь нежного человеческого голоса. Даже моя мать не умела так говорить со мной.

Глаза мои стали влажными, и я ощутил между ресницами теплоту слез. «Вот, вот – момент разразиться рыданиями...» Но это была лишь одна слезинка, и я (стыдно признаться, но это правда: подобными проявлениями исчерпываются многие человеческие переживания и волнения в самый свой разгар) – я поднял лицо, чтобы Джулиана заметила эту слезинку, и несколько мгновений испытывал ужасное беспокойство, боясь, что в темноте она не заметит ее блеска. И для того чтобы обратить ее внимание, я сильно втянул в себя воздух, как делают, когда хотят подавить рыдание. И она, наклонив свое лицо к моему, чтобы поближе рассмотреть меня, так как я продолжал молчать, повторила:

– Ты не отвечаешь?

Она заметила слезу; и чтобы убедиться, подняла мою голову и запрокинула ее почти резким движением.

– Ты плачешь?

Голос ее изменился.

И вдруг я вырвался, поднялся, чтобы бежать, как человек, который не в силах более совладать с нахлынувшим на него горем.

– Прощай, прощай. Пусти меня, Джулиана. Прощай.

И поспешил выйти из комнаты.

Оставшись один, я почувствовал к себе отвращение.

Был канун знаменательного дня для выздоравливающей. Когда несколько часов спустя я снова явился к ней, чтобы присутствовать при ее обычном скромном обеде, я нашел ее в обществе моей матери. Увидя меня, мать воскликнула:

– Итак, Туллио, завтра – праздник!

Мы с Джулианой смущенно взглянули друг на друга. Потом, с некоторым усилием, немного рассеянно, я заговорил о завтрашнем дне, о часе, когда ей можно будет встать, и о прочих подробностях. И я про себя желал, чтобы мать не оставляла нас наедине.

Судьба улыбалась мне: мать вышла из комнаты лишь один раз и сейчас же вернулась обратно. В эту минуту Джулиана быстро спросила меня:

– Что было с тобой раньше? Ты не хочешь мне этого сказать?

– Ничего, ничего.

– Видишь, как ты портишь мне праздник.

– Нет, нет. Скажу тебе... скажу... потом. Не думай об этом теперь, прошу тебя.

– Будь добр!

Мать вернулась с Марией и Натальей. Интонация, с которой Джулиана произнесла эти несколько слов, убедила меня, что она была далека от истины. Не думала ли она, что эта грусть была отражением тени моего неизгладимого и неискупаемого прошлого? Не думала ли она, что меня мучило раскаяние в причиненном ей горе и опасение не заслужить за все это ее прощения? Еще раз я испытал сильное волнение на другой день утром (чтобы доставить ей удовольствие, я ждал в соседней комнате), когда услышал, что она зовет меня своим звонким голосом:

– Туллио, иди сюда.

И я вошел; она уже встала и казалась мне выше, худее, почти хрупкой. Она была одета в своеобразную широкую ниспадающую тунику с длинными прямыми складками и улыбалась, едва держась на ногах, пошатываясь, приподнимая руки как бы для того, чтобы удержать равновесие, поворачиваясь то ко мне, то к моей матери.

Мать глядела на нее с неопишуемым выражением нежности, готовая поддержать ее. Я тоже протянул руку, чтобы дать ей опору.

– Нет, нет, – просила она, – оставьте меня. Я не упаду. Я хочу сама дойти до кресла.

Она подняла ногу, сделала тихонько один шаг. Лицо ее озарилось детской радостью.

– Осторожнее, Джулиана!

Она сделала еще два или три шага; потом, охваченная внезапным страхом, панической боязнью упасть, поколебалась мгновение, стоя между мной и матерью, и бросилась в мои объятия, на мою грудь, всей своей тяжестью, содрогаясь, как от рыданий. На самом же деле она смеялась, несколько возбужденная страхом. Так как на ней не было корсета, мои руки сквозь тонкую материю чувствовали ее всю, гибкую и стройную, грудь моя чувствовала ее тело, трепещущее и замирающее; я вдыхал запах ее волос и снова видел на ее щеке маленькую темно-коричневую родинку.

– Я боялась, – отрывисто говорила она, смеясь и задыхаясь, – я боялась упасть.

И так как она запрокидывала голову, чтобы взглянуть на мою мать, не отрываясь от меня, я заметил ее бескровные десны, белки ее глаз и что-то судорожное в ее лице. И я понял, что держал в своих объятиях бедное, ослабленное существо, глубоко потрясенное болезнью, с разбитыми нервами, с источенными жилами; быть может, пораженное неисцелимым недугом. Я вспомнил, как вся она преобразилась в тот вечер от неожиданного поцелуя; и вновь показалось мне прекрасным дело сострадания, любви и покаяния, от которого я отказывался.

– Доведи меня до кресла, Туллио, – проговорила она.

Поддерживая ее рукой за талию, я тихонько повел ее, помог ей усесться в кресло, положил на его спинку подушки; припоминая даже, что выбрал более изящную подушку, на которую она положила голову. И еще, чтобы подложить подушку под ноги, я стал на колени и увидел ее чулок лилового цвета, ее маленькую туфельку, которая прикрывала эту ножку чуть повыше большого пальца. Как в *тот вечер*, она следила за всеми моими движениями ласковым взглядом. И я намеренно медлил... Придвинул к ней маленький чайный столик, на который поста-

вил вазу со свежими цветами, положил несколько книг, ножик из слоновой кости, невольно вкладывая в эти заботы некоторую долю показного усердия.

Ирония вновь пробудилась во мне. «Ловко! Очень ловко! Весьма полезно, что ты делаешь все это на глазах у твоей матери. Как станет она что-нибудь подозревать, присутствуя при этих твоих нежностях? Немного услужливости не повредит. К тому же у нее не очень острое зрение. Продолжай, продолжай. Все идет великолепно. Смелее!»

– О, как мне хорошо тут! – воскликнула Джулиана со вздохом облегчения, полузакрыв глаза. – Спасибо, Туллио.

Минуту спустя, когда моя мать вышла и мы остались одни, она повторила, с более глубоким чувством:

– Спасибо.

И протянула мне ладонь, чтобы я взял ее в свои руки. Так как рукав был широк, то рука обнажилась до локтя. И эта белая и верная рука, которая приносила любовь, прощение, мир, грезы, забвение, столько дивных, прекрасных вещей, дрогнула на мгновение в воздухе, приближаясь ко мне как бы для высшей жертвы.

Я думаю, что в час смерти, в тот миг, когда я перестану страдать, я вновь увижу одно это движение; из всех бесчисленных образов минувшей жизни я вновь увижу одно только это движение.

Припоминая тот день, я никогда не могу отчетливо представить себе тогдашнее состояние своего духа. Могу лишь с уверенностью утверждать, что и тогда я понимал необычную важность момента и особенное значение того, что происходило и должно было произойти. Проницательность моя была, или мне казалось так, совершенной. Два процесса разворачивались в моем сознании, не смешиваясь друг с другом, самостоятельные, параллельные. В одном господствовало, вместе с состраданием к существу, которому я готовился нанести удар, острое чувство сожаления по поводу дара, который я готов был отвергнуть. В другом преобладало – вместе с тайным желанием обладать далекой любовницей – эгоистическое чувство, укрепившееся благодаря холодному исследованию обстоятельств, благоприятствовавших моей безнаказанности. Этот параллелизм доводил мою внутреннюю жизнь до какого-то высшего напряжения, до какой-то невероятной ускоренности.

Настал решительный момент. Я должен был ехать завтра и не мог более медлить. Чтобы это решение не показалось непонятным и слишком внезапным, нужно было в то же утро, за завтраком, сообщить матери об отъезде и привести благовидный предлог. Нужно было даже раньше, чем матери, сообщить о нем Джулиане, чтоб не произошло каких-нибудь нежелательных последствий. «А если Джулиана в конце концов не выдержит? Если, в порыве горя и негодования, она откроет моей матери всю правду? Как добиться от нее обещания молчать, нового акта самоотречения?» Я обдумывал все это до последней минуты. «Поймет ли она сразу, с первого слова? А если не поймет? Если наивно спросит меня о цели моей поездки? Как ответить ей?.. Но она поймет. Невозможно, чтобы она не знала уж от кого-либо из своих приятельниц, хотя бы от этой самой Таличе, о том, что Терезы Раффо нет в Риме».

Мои силы начинали уже изменять мне. Я не мог дольше сдерживать волнение, возраставшее с минуты на минуту. Чувствуя, как напряглись мои нервы, я решился, и, так как говорила она, я стал ждать, чтобы она сама предоставила мне подходящий повод выпустить стрелу.

Она говорила о многих вещах, касающихся исключительно будущего, с необычным возбуждением. Что-то судорожное в ней, уже замеченное много раньше, показалось мне более очевидным. Я еще стоял за ее креслом. До этого момента я избегал ее взгляда, нарочно двигаясь по комнате все время позади кресла, то поправляя занавески окна, то приводя в порядок книги на маленькой полочке, то подбирая с ковра лепестки, упавшие с букета увядших роз. Остановившись позади нее, я стал смотреть на пробор ее волос, на длинные изгибы ее ресниц, на слегка трепетавшую грудь и на ее руки, ее прекрасные руки, лежавшие на ручках кресла,

поникие, как в тот день, бледные, как в тот день, когда «только голубые жилки отличали их от простыни».

Тот день! Не прошло еще и недели. Почему же он казался таким далеким?

Стоя позади нее, в крайне нервном напряжении, словно в засаде, я думал, что она, быть может, инстинктивно чувствовала над своей головой угрозу; и мне казалось, что я угадываю в ней какую-то неопределенную тревогу. Еще раз у меня нестерпимо сжалось сердце.

Наконец она проговорила:

– *Завтра*, если мне будет лучше, ты перенесешь меня на террасу, на воздух...

Я прервал ее:

– *Завтра* меня здесь не будет.

Она вздрогнула от странного звука моего голоса.

– Я уезжаю, – прибавил я, не дожидаясь ответа. И еще прибавил, с усилием произнося каждое слово, содрагаясь, как человек, который должен нанести смертельный удар жертве: – Уезжаю во Флоренцию.

– Ах!

Она поняла сразу. Обернулась быстрым движением, вся изогнулась на подушках, чтобы взглянуть на меня; и благодаря этому резкому обороту я снова увидел белки ее глаз, ее бескровные десны.

– Джулиана, – пробормотал я, не зная, что сказать ей, и наклонился к ней, боясь, как бы она не упала в обморок.

Но она опустила веки, овладела собой, опять отвернулась, сжалась вся, как будто охваченная сильным холодом. Оставалась так несколько минут, с закрытыми глазами, со сжатым ртом, неподвижная. Только видимое пульсирование сонной артерии на шее и судорожные подергивания рук указывали в ней на признаки жизни.

Не было ли это преступлением? Это было *первое* из моих преступлений; и, может быть, не самое меньшее.

Я уехал при ужасных обстоятельствах. Мое отсутствие продолжалось более недели. Когда я вернулся, то в следующие за моим возвращением дни я и сам удивлялся моему почти циническому бесстыдству. Мною овладел род колдовства, уничтожавшего во мне всякое нравственное чувство и делавшего меня способным на самую вопиющую несправедливость, на самую чудовищную жестокость. Джулиана и на этот раз выказала удивительную силу воли; и на этот раз она сумела молчать. Она казалась мне замкнувшейся в своем молчании, словно в твердой, непроницаемой броне.

Она уехала с дочерьми и с моею матерью в Баддиолу. Их сопровождал мой брат. Я остался в Риме.

С этого времени начался для меня самый печальный, самый мрачный период, воспоминание о котором еще и теперь наполняет меня чувством отвращения и стыда. Находясь во власти того чувства, которое более всякого другого подымает в человеке присущую ему грязь, я испытал все страдания, которые женщина способна доставить слабой, страстной и вечно беспокойной душе. Страшная чувственная ревность, вспыхнув благодаря какому-то подозрению, разлилась во мне, иссушив все мои внутренние благие источники, питаясь всей грязью, залежей в недрах моего животного естества.

Никогда Тереза Раффо не казалась мне столь желанной, как теперь, когда я не мог отделить ее от похотливого, пошлого образа. И она пользовалась самым моим презрением, чтобы обострить мое вожделение. Жестокие конвульсии, жизненные радости, позорная зависимость, гаденькие условия, предложенные и принятые без краски стыда, слезы горше всякой отравы, внезапные неистовства, толкавшие меня на грань безумия, падения в пропасть разврата, столь стремительные, что оставляли меня на много дней как бы оглушенным, все ничтожество и весь позор чувственной страсти, подогретой ревностью, – я все это изведал. Мой дом стал чужим

для меня, присутствие Джулианы сделалось мне неприятным. Иногда проходили целые недели, в течение которых я не обращался к ней ни с одним словом. Погруженный в свои внутренние мучения, я не видел ее, не слышал ее. Случайно поднимая глаза на нее, я поражался ее бледности, выражению ее лица, каким-то особенным изменениям его, как чему-то новому, неожиданному, странному, и мне не удавалось составить ясного представления о ее переживаниях. Все проявления ее существования оставались мне неизвестными. Я не чувствовал никакой потребности расспрашивать ее, допытываться; не ощущал никакого беспокойства за нее, никакой тревоги, никакого страха. Незыблемая жестокость настраивала против нее мою душу. Порой даже я испытывал к ней какое-то неопределенное, невыразимое раздражение. Однажды я услышал, как она смеялась, и смех этот рассердил меня, почти вывел меня из себя. В другой раз я весь задрожал, услышав в отдаленной комнате ее пение. Она пела арию Орфея:

«Что буду делать я без Эвридики?»

В первый раз после долгого промежутка времени она пела так громко, расхаживая по комнатам; в первый раз, после необычайно долгого перерыва, я вновь услышал ее голос. Почему она пела? Стало быть, ей было весело? Какое состояние души отражалось в этом необычном проявлении? Незыблемое волнение овладело мной. Недолго думая, я подошел к ней, окликнул ее по имени.

Увидя, что я вхожу в ее комнату, она остановилась в изумлении; на несколько мгновений она застыла от удивления, явно пораженная моим приходом.

– Ты поешь? – проговорил я, чтобы сказать что-нибудь, несканзано удивляясь своему собственному неожиданному поступку.

Она улыбнулась неопределенной улыбкой, не зная, что ответить, не зная, как ей держаться со мной. И мне показалось, что в глазах ее я прочел какое-то мучительное любопытство, уже не раз вскользь подмеченное мной: то сострадательное любопытство, с каким глядят на человека, подозреваемого в сумасшествии, на безумного. В самом деле, в зеркале, напротив, я заметил свое отражение; я узнал свое исхудалое лицо, свои запавшие глаза, свой распухший рот, весь этот лихорадочный облик, который я обрел уже несколько месяцев назад.

– Ты одевалась, чтобы выйти? – спросил я ее, все еще в недоумении, почти робко, не зная, о чем спросить ее, и желая прервать молчание.

– Да.

Было ноябрьское утро. Она стояла у столика, убранного кружевами, на котором было разбросано множество блестящих модных безделушек, предназначенных для ухода за женской красотой. На ней было темное вигоневое платье, а в руках светлый черепаховый гребень с серебряным ободком. Платье, самого простого фасона, гармонировало с изящной гибкостью всей ее фигуры. Большой букет белых хризантем высился на столе, достигая ее плеч. Солнце бабьего лета бросало через окно косые лучи, пропитанные, казалось, запахом не то пудры, не то духов, – запахом, который я не мог распознать.

– Какими духами ты пользуешься теперь? – спросил я ее.

Она ответила:

– Grab-apple.

– Мне они нравятся, – прибавил я.

Она взяла со стола флакон и подала его мне. И я долго нюхал его, чтобы что-нибудь делать, чтобы иметь время приготовить еще какую-нибудь фразу. Мне не удалось рассеять свое смущение, быть по-прежнему непринужденным. Я чувствовал, что всякая интимность между нами исчезла. Она казалась мне другой женщиной. И в то же время ария Орфея продолжала еще волновать мою душу, еще беспокоила меня.

Что буду делать я без Эвридики?..

В этом золотистом и теплом свете, в этом столь мягком аромате, среди всех этих предметов, пропитанных женской грацией, звуки старинной мелодии, казалось, пробуждали трепет сокровенной жизни, разливали тень неведомой тайны.

– Какую красивую арию ты пела сейчас! – проговорил я, повинуюсь побуждению, рожденному беспокойством.

– Очень красивую! – воскликнула она.

И с уст моих готов был сорваться вопрос: «Почему же ты пела?» Но я удержался и вновь стал доискиваться причины этого мучившего меня любопытства.

Наступило молчание. Она проводила ногтем большого пальца по зубьям гребенки, производя легкий скрип. (Этот звук с какой-то необычайной ясностью сохранился в моей памяти.)

– Ты одевалась, чтобы уйти. Продолжай же, – сказал я.

– Мне осталось надеть лишь жакетку и шляпу. Который час?

– Без четверти одиннадцать.

– Ах, неужели так поздно?

Она взяла шляпу и вуаль и села перед зеркалом. Я смотрел на нее. И новый вопрос застыл на моих губах: «Куда ты идешь?» Но и на этот раз я удержался, хотя вопрос мог бы показаться естественным. И продолжал со вниманием смотреть на нее.

И вновь она представилась мне такой, какой была в действительности: молодой, в высшей степени изящной с нежной и благородной фигурой, женщиной, полной естественного обаяния и украшенной возвышенными духовными качествами; одним словом, восхитительной женщиной, которая, короче говоря, могла бы быть очаровательной любовницей и телом, и душой. «А если она и вправду чья-нибудь любовница? – подумал я вдруг. – Конечно, невозможно, чтобы у других к ней неоднократно не вспыхивало желание. Слишком известно было мое равнодушие к ней; слишком известна была моя виновность. А если она уже отдалась кому-нибудь? Или готова была отдаться? Если сочла, наконец, безумным и несправедливым жертвовать своей молодостью? Если, в конце концов, ее утомило долгое самоотречение? Если познакомилась с кем-нибудь лучше меня, с каким-нибудь утонченным и опытным соблазнителем, который снова сумел возбудить ее любопытство и заставил забыть неверного? Что, если я уже окончательно потерял ее сердце, слишком часто попираемое мною без сожаления и без угрызения совести?» Внезапная тревога овладела мною; и приступ ее был так силен, что я подумал: «Вот, вот, тут же признаюсь ей в своих сомнениях. Загляну в глубь ее зрачков и спрошу: «Чиста ли ты еще?» И узнаю правду. Она неспособна лгать. Неспособна лгать? Ха-ха-ха! Она ведь женщина!.. Что знаешь ты о ней? Женщина способна на все. Припомни-ка, ведь не раз величественная мантия героини служила для того, чтобы прикрыть полдюжины любовников. Жертва! Самоотречение! Притворство! Слова! Кто может когда-либо знать истину? Поклянись, если можешь, в верности своей жены в прежнее время, до болезни. Клянись же в ее беззаветной верности, если можешь...» И коварный голос (ах, Тереза, как действовал ваш яд), вероломный голос как будто заморозил меня.

– Пожалуйста, Туллио, – сказала почти робко Джулиана, – приколи вот здесь шпилькой вуаль.

Она подняла руки, изогнув их по направлению к верхней части головы, чтобы придержать вуаль; и тщетно старалась прикрепить ее своими белыми пальцами. Ее поза была полна грации. Ее белые пальцы заставили меня подумать: «Сколько времени уже мы нежимаем друг другу рук! О, сильные и горячие пожатия рук, которыми она когда-то словно уверяла меня, что не таит никакой вражды ко мне ни за какую обиду! А теперь, быть может, рука ее нечиста?» И, прикалывая ей вуаль, я почувствовал внезапное отвращение при мысли о возможном падении Джулианы.

Она встала, и я помог ей надеть жакет. Два или три раза взоры наши было встретились; и еще раз я прочел в ее глазах род беспокойного любопытства. Она, быть может, спрашивала

самое себя: «Зачем он пришел сюда? Зачем остается здесь? Что означает его смущенный вид? Что ему надо от меня? Что с ним случилось?»

– Прости... одну минутку, – проговорила она и вышла из комнаты.

Я услышал, как она звала мисс Эдит, гувернантку. Когда я остался один, глаза мои невольно остановились на ее маленьком письменном столике, заваленном письмами, записками, книгами. Я подошел к нему; и вот глаза мои стали блуждать по бумагам, словно пытаюсь обнаружить... «Что такое? Неужели *доказательства*?» Но я подавил в себе низкое и глупое желание. Взглянул на книгу в полотняном переплете под старину с кинжальчиком, вложенным между страницами. Она, по-видимому, дочитала книгу до середины. Это был последний роман Филиппо Арборио, «Тайна». Я прочел на титульном листе посвящение, написанное рукой автора: «Вам, Джулиана Эрмилль *Turris Eburnea*⁶, я, недостойный, дарю. Ф. Арборио. День Всех Святых, 85».

Значит, Джулиана была знакома с романистом? Какое отношение могла иметь к нему Джулиана? И я представил себе изящную и обольстительную фигуру писателя, которого иногда видел в общественных местах. Конечно, он мог нравиться Джулиане. Поговаривали, что он нравился женщинам. Его романы, изобилующие сложной психологией, иногда весьма утонченной, часто фальшивой, волновали сентиментальные души, возбуждали беспокойные фантазии, с необычайным изяществом внушали презрение к обыденной жизни. «Агония», «Рьяная католичка», «Анжелика Дони», «Джорджо Алиора», «Тайна» превращали жизнь в яркое видение, обширный калейдоскоп бесчисленных, пылающих образов. Каждый из его героев сражался за свою Химеру в отчаянном поединке с действительностью.

Не распространял ли своего очарования также и на меня этот замечательный художник, вознесшийся в своих книгах до чисто духовного естества? Не называл ли я его «Джорджо Алиора» «близкой по духу» книгой? Не находил ли я в некоторых героях его произведений поразительное сходство с моим внутренним существом? А что, если именно странное сходство между нами способствовало делу обольщения, быть может, уже пущенного в ход? А если Джулиана уже отдалась ему, подметив в нем некоторые из тех самых привлекательных качеств, благодаря которым она когда-то преклонялась предо мной? – подумал я с новым ужасом.

Она вернулась в комнату. Увидя эту книгу у меня в руках, она сказала со смущенной улыбкой, слегка покраснев:

– Что ты смотришь?

– Ты знакома с Филиппо Арборио? – вдруг спросил я ее, но без всякого изменения в голосе, самым обыкновенным и спокойным тоном, каким только мог.

– Да, – непринужденно ответила она. – Его представили мне в доме Монтеризи. Он несколько раз был и здесь, но не имел случая встретиться с тобой.

Из моих уст готов был сорваться вопрос: «А почему ты не говорила мне об этом?» Но я удержался. Как могла бы она говорить мне об этом, если я своим поведением уже давно прервал между нами всякий обмен новостями и дружескую доверительность.

– Он гораздо проще своих книг, – непринужденно добавила она, медленно надевая перчатки. – Ты читал «Тайну»?

– Да, уже прочел.

– Тебе понравилось?

Не подумав, из инстинктивной потребности подчеркнуть перед Джулианой свое превосходство, я ответил:

– Нет. Посредственная книга.

– Я ухожу, – сказала она наконец и повернулась к двери.

⁶ Башня из слоновой кости (лат.).

Я проводил ее до передней, идя в полосе чуть слышного аромата, который она оставляла за собой. Поравнявшись с лакеем, она сказала только:

– До свидания.

И легким шагом переступила через порог.

Я вернулся к себе в комнату. Открыл окно, высунулся наружу, чтобы видеть ее на улице.

Она шла своей легкой походкой по солнечной стороне тротуара; шла прямо, не поворачивая головы, не оглядываясь. Бабье лето разливало тончайшую позолоту на хрусталь неба; и спокойная теплота смягчала воздух, вызывая ощущение запаха отцветших фиалок. Безмерная грусть давила меня, словно пригвоздив к подоконнику; мало-помалу она стала невыносимой. Редко приходилось мне в жизни страдать так сильно, как из-за этого сомнения, сразу сокрушившего мою веру в Джулиану, веру, не угасавшую в течение стольких лет; редко душа моя кричала так сильно вслед за исчезающей иллюзией. Неужели, однако, она исчезла-таки без возврата? Я не мог, не хотел уверить себя в этом. Вся моя грешная жизнь сопровождалась этой великой иллюзией, отвечавшей не только требованиям моего эгоизма, но и моей эстетической мечте о нравственном величии. «Нравственное величие измеряется силой перенесенных страданий, и потому, чтобы воспользоваться случаем быть героиней, она должна была выстрадать все то, что я заставил ее выстрадать».

Эта аксиома, которую мне неоднократно удавалось успокаивать свою совесть, глубоко укоренилась в моем уме, зародив в нем идеальный призрак, возведенный лучшей частью моего существа в своего рода платонический культ. Мне, развращенному, лживому и дряблему, нравилось видеть в круге моего существования душу строгую, прямую и сильную, душу неподкупную; и мне нравилось быть предметом ее любви, быть вечно любимым ею. Вся моя порочность, вся моя низость и вся моя слабость находили опору в этой иллюзии. Я думал, что для меня могла бы превратиться в действительность мечта всех интеллектуальных людей: быть постоянно неверным женщине, постоянно верной.

«Чего ты ищешь? Всех опьянений жизни? Иди же, опьяняйся! В твоём доме, как прикрытый образ в святилище, ждет существо безмолвное и помнящее. Лампада, в которую ты не наливаешь больше ни капли масла, никогда не угаснет. Не это ли мечта всех интеллектуальных людей?»

Или же: «В какой бы то ни было час, после каких бы то ни было скитаний, вернувшись, ты найдешь ее. Она была уверена в твоём возвращении, но не расскажет тебе о своём ожидании. Ты положишь голову ей на колени, и она кончиками своих пальцев проведет по твоим вискам, чтобы унять твою скорбь».

Именно такое возвращение и жило в моем предчувствии; окончательное возвращение, после одной из тех внутренних катастроф, что преображают человека. И все мои мучительные переживания укрощались таившейся в глубине уверенностью в неизменности убежища; и в бездну моего позора спускался хоть некоторый свет от женщины, которая из любви ко мне и благодаря моему поведению достигла высоты, вполне соответствующей образу моего идеала.

Достаточно ли было одного сомнения, чтобы разрушить все в одну секунду?

И я вновь стал думать обо всей этой сцене, происшедшей между мной и Джулианой, с момента моего прихода в ее комнату до момента ее ухода.

Хотя я приписывал большую часть своих внутренних переживаний особенному, временному нервному состоянию, все же я не мог рассеять странного впечатления, точно выраженного словами: «Она казалась мне другой женщиной». Конечно, в ней было что-то новое. Но что именно? Не несло ли посвящение Филиппо Арборио успокоение? Не подтверждало ли оно именно неприступность *Turris Eburnea*? Этот прославляющий эпитет мог быть подсказан ему просто молвой о чистоте Джулианы Эрмилль или же попыткой неудавшейся осады и, быть может, отказом от предпринятой осады. Стало быть, «Башня из слоновой кости» должна была быть еще и башней неприступной.

Рассуждая таким образом, чтобы заглушить боль подозрения, я в глубине души испытывал смутную тревогу, как будто боялся, что тут же подступит какое-нибудь ироническое возражение. «Ты же знаешь: кожа Джулианы необычайно бела. Она поистине *бледна, как ее рубашка*. Священный эпитет мог скрывать в себе какое-нибудь оскверняющее значение...» Но это *недостойно!* «Эх, сколько придинок!...»

Гневный порыв нетерпения прервал это унижительное и бессмысленное рассуждение. Я отошел от окна, нервно пожал плечами, два или три раза прошелся по комнате, машинально раскрыл книгу, отбросил ее. Но неуравновешенное состояние не проходило. «В сущности, – подумал я, останавливаясь, словно желая стать лицом к лицу с невидимым врагом, – к чему все это можно свести? Или она уже пала, и потеря необратима; или она – в опасности, и я в настоящем своем положении не могу ничего предпринять для ее спасения; или же она чиста и достаточно сильна, чтобы сохранить себя чистой, а тогда – ничего не изменилось. Во всяком случае, с моей стороны нет надобности в каком-нибудь *действии*. То, что есть, необходимо; то, что будет, будет необходимо. Этот приступ страдания пройдет. Нужно подождать. Как были красивы белые хризантемы на столе Джулианы! Пойду и куплю много, много таких же. Свидание с Терезой сегодня – в два часа. Остается еще почти три часа... Не сказала ли она, в последний раз, что хотела бы застать камин затопленным? Это будет *первый огонь* зимы, в такой теплый день. Она, кажется мне, теперь в периоде «доброй недели». Если бы так было дальше! Но я при первом же случае вызову на дуэль Эджению Эгано». Моя мысль приняла новое направление, с внезапными остановками, с неожиданными уклонениями. Среди образов предстоящего сладострастия промелькнул другой нечистый образ, которого я боялся, от которого хотел избавиться. Некоторые жгучие и смелые страницы «*Рьяной католички*» пришли мне на память. Одна судорога вызывала другую. И я смешивал равно оскверненных женщин Филиппо Арборио и Эджению Эгано, хотя и не с одинаковой болью, но с одной и той же ненавистью.

Кризис миновал, оставив в моей душе какое-то смутное презрение, смешанное со злобой по отношению к *сестре*. Я все больше отдалялся от нее, становился все более жестоким, более невнимательным, более замкнутым. Моя горькая страсть к Терезе Раффо становилась все более исключительной, овладела всеми моими помыслами, не давала мне ни часу отдыха. Поистине, я превратился в какого-то одержимого, охваченного дьявольским безумием, разъедаемого неведомым и ужасным недугом. Воспоминания об этой зиме в моем уме как-то смутны, несвязны и прерываются какими-то странными промежутками мрака.

В ту зиму я ни разу не встречал у себя дома Филиппо Арборио; изредка видел его в общественных местах. Но однажды вечером я встретился с ним в фехтовальном зале; и там мы познакомились; учитель представил нас друг другу, и мы обменялись несколькими словами. Свет газа, скрип пола, звон и блеск клинков, разнообразные позы фехтующих, неуклюжие или изящные, быстрые притаптывания всех этих изогнутых ног, теплое и едкое испарение тел, гортанные выкрикивания, грубые восклицания, взрывы смеха – все это восстанавливает в моей памяти с поразительной ясностью обстановку вокруг нас в тот момент, когда мы стояли друг перед другом и учитель назвал наши имена. Я вижу жест, которым Филиппо Арборио снял маску, открывая разгоряченное, покрытое потом лицо. Держа в одной руке маску, в другой рапиру, он поклонился. Он тяжело дышал, был утомлен и немного взволнован, как человек, непривычный к мускульным упражнениям. Инстинктивно я подумал, что он не был бы страшен в поединке. Я держался с ним даже несколько высокомерно; нарочно не сказал ему ни слова, намекавшего на его известность, на мое восхищение им; я держал себя так, как вел бы себя по отношению ко всякому незнакомцу.

– Итак, – спросил меня учитель, улыбаясь, – до завтра?

– Да, в десять.

– У вас дуэль? – спросил Арборио с нескрываемым любопытством.

– Да.

Он колебался немного, потом добавил:
– С кем? Если это не нескромный вопрос.
– С Эдженио Эгано.

Я заметил, что ему хотелось бы знать немного больше, но его удерживало мое холодное и явно невнимательное обращение.

– Учитель, пятиминутная атака, – сказал я и повернулся, чтобы пройти в раздевальную. Дойдя до порога, я остановился, оглянулся и увидел, что Арборио снова принялся фехтовать. Одного беглого взгляда было мне достаточно, чтобы убедиться, что он плоховат в этом деле.

Когда я начал атаку с учителем, на глазах у всех, мною овладело какое-то особенное, нервное возбуждение, удвоившее мою энергию. И я чувствовал на себе пристальный взгляд Филиппо Арборио.

Потом мы снова встретились в раздеальной. Слишком низкая комната была уже полна дымом и очень едкого, тошнотворного запаха человеческого тела. Все находившиеся там, полураздетые, в широких белых халатах, медленно растирали себе грудь, руки и плечи, курили, громко болтали, давая в непристойной беседе выход своим животным побуждениям. Шум воды, льющейся из умывальников, чередовался с циничными взрывами хохота. И два-три раза, с бессознательным чувством отвращения, с содроганием, как если бы мне нанесли сильный удар, я увидел тощее тело Арборио, на котором невольно останавливался мой взгляд.

После того у меня не было другого случая ближе познакомиться или даже встретиться с ним. Меня это и не интересовало. К тому же я не замечал ничего подозрительного в поведении Джулианы. Вне того все более суживавшегося круга, в котором я вращался, ничто не было для меня ясно и доступно пониманию. Все внешние впечатления касались моего мозга так, как на раскаленную плиту падают капли воды, отскакивая или испаряясь.

События шли с головокружительной быстротой. В конце февраля, после последнего и позорного доказательства неверности, между мной и Терезой Раффо произошел окончательный разрыв. Я уехал в Венецию один.

Я оставался там около месяца в состоянии какого-то непонятного недуга; в каком-то столбняке, усиливавшемся благодаря туманам и безмолвию лагун. Я сохранил лишь чувство своего одиночества среди неподвижных призраков окружающего меня мира. В течение долгих часов я не ощущал ничего, кроме тяжелой, давящей меня неподвижности жизни и легкого биения пульса в висках. В течение долгих часов мной владело странное очарование, производимое на душу непрерывным и монотонным движением чего-то неопределенного. Моросило. Туман на воде принимал порой зловещие формы, расстилаясь медленно и торжественно, как шествуют привидения. Часто в гондоле, словно в гробу, я сталкивался с чем-то вроде воображаемой смерти. Когда гребец спрашивал меня, куда везти, я почти всегда делал неопределенный жест и в глубине души понимал искреннее отчаяние, сквозящее в словах: «Куда бы ни было, но за пределы мира».

В последних числах марта я вернулся в Рим. У меня было какое-то новое ощущение действительности, как после долгого затмения сознания. Порой мной овладевали вдруг робость, смущение, беспричинный страх; и я чувствовал себя беспомощным, как дитя. Я все время смотрел вокруг себя с необычайным вниманием, чтобы вновь понять истинное значение вещей, чтобы постичь нормальные соотношения их, чтобы отдать себе отчет в том, что изменилось, что исчезло. И по мере того, как я обращался к общей жизни, в моем уме восстанавливалось равновесие, пробуждалась некоторая надежда, воскресала забота о будущем.

Я нашел Джулиану очень ослабевшей, с пошатнувшимся здоровьем, печальной, как никогда раньше. Мы мало говорили, избегая смотреть друг другу в глаза, не раскрывая своих сердец. Мы оба искали общества наших девочек; а Мария и Наталья, в счастливом неведении, наполняли безмолвие своими свежими голосами.

– Мама, – спросила как-то Мария, – мы поедем в этом году на Пасху в Бадиолу?

Я ответил, не колеблясь, вместо матери:

– Да, поедem.

Тогда Мария, увлекая за собой сестру, начала радостно прыгать по комнате. Я взглянул на Джулиану.

– Хочешь, чтобы мы поехали? – спросил я робко, почти смиренно.

Она в знак согласия кивнула головой.

– Я вижу, что тебе нездоровится, – добавил я. Она лежала в кресле, положив свои белые руки на подлокотники кресла; и ее поза напомнила мне другую позу: позу выздоравливающей в то утро, когда она уже встала с постели, но после моего рокового сообщения.

С отъездом было решено. Мы стали готовиться к нему. Надежда светила в моей душе, но я не смел ей довериться.

I

Вот – первое воспоминание.

Когда я начал свой рассказ, я хотел этой фразой сказать, что это – первое воспоминание, относящееся к ужасному событию.

Итак, это было в апреле. Уже несколько дней мы жили в Бадиоле.

– Ах, дети мои, – сказала моя мать со свойственной ей откровенностью, – как вы отощали! Ах, этот Рим, этот Рим! Чтобы поправиться, вам нужно оставаться со мной в деревне очень долго... очень долго...

– Да, – улыбаясь, проговорила Джулиана, – да, мама, мы останемся, сколько тебе будет угодно.

Эта улыбка стала часто появляться на устах Джулианы в присутствии моей матери; и хотя грусть в глазах оставалась неизменной, эта улыбка была столь нежной, была полна столь глубокой доброты, что я сам поддался иллюзии. И осмелился довериться своей надежде.

В первые дни моя мать не расставалась с дорогими гостями; она, казалось, хотела насытить их нежностью. Несколько раз я видел, замирая от невыразимого волнения, как она ласково проводила своей рукой по волосам Джулианы. Однажды я услышал, как она спросила ее:

– Он все еще продолжает любить тебя?

– Бедный Туллио! Да, – ответил другой голос.

– Так, значит, это неправда...

– Что такое?

– То, что мне передали.

– Что же тебе передали?

– Ничего, ничего. Я думала, что Туллио огорчил тебя...

Они разговаривали в оконной нише, за колышущимися занавесками, в то время как за окном шумели вяза. Я подошел к ним прежде, чем они заметили меня; поднял занавеску и очутился возле них.

– Ах, Туллио! – воскликнула моя мать.

И они обменялись несколько смущенным взглядом.

– Мы говорили о тебе, – добавила моя мать.

– Обо мне? И дурно? – с веселым видом спросил я.

– Нет, хорошо, – сейчас же сказала Джулиана; и я подметил в ее голосе желание *успокоить меня*.

Апрельское солнце било своим светом в подоконник, отсвечивало в седых волосах моей матери, стелилось тонкими, светлыми полосками на висках Джулианы. Ослепительно белые занавески колыхались, отражаясь в сверкающих стеклах. Большие вяза на лужайке, покрытые маленькими, свежими листочками, шелестели то сильно, то слабо, в такт большому или меньшему колебанию теней. От самой стены дома, обвитой бесчисленным множеством желтофиблей, подымалось пасхальное благоухание, точно невидимое воскурение ладана.

– Какой тут острый аромат! – чуть слышно проговорила Джулиана, проводя пальцами по бровям и полужакрывая веки. – Одурманивает.

Я стоял между ней и моей матерью, несколько позади. У меня явилось желание нагнуться к подоконнику и обнять ту и другую. В это простое проявление добрых чувств мне хотелось вложить всю нежность, переполнявшую мое сердце, передать Джулиане множество невыразимых переживаний и завоевать ее всю одним этим движением.

– Смотри, Джулиана, – сказала моя мать, указывая на одну точку холма, – твоя Вилла-лилла. Видишь ее?

– Да, да.

И, прикрываясь от солнца рукой, она стала всматриваться, а я, наблюдавший за ней, заметил легкую дрожь ее верхней губы.

– Различаешь кипарис? – спросил я ее, желая этим, имеющим особое значение, вопросом усилить ее смущение.

И я снова увидел в своем воображении старый, величественный кипарис, с кустом роз у подножия и соловьиным гнездом на вершине.

– Да, да, различаю... чуть-чуть.

Виллалилла белела среди холмов, очень далеко, в прогалине. Цепь холмов развевалась перед нами благородной и спокойной линией, на которой оливковые деревья казались необычайно легкими и были похожи на серо-зеленый туман, застывший в неподвижных формах. Деревья в цвету своими белыми и розовыми куполами нарушали однообразие пейзажа. Казалось, будто небо непрерывно бледнело, словно на его влажной поверхности разливалось молоко.

– Мы поедем в Виллалиллу после Пасхи; она будет вся в цвету, – сказал я, стараясь вернуть ее душе мечту, так грубо вырванную мною.

И я осмелился подойти еще ближе, обнять Джулиану и мою мать, нагнуться к подоконнику, просунув голову между их головами так, чтобы волосы той и другой касались меня. Весна, этот благотворный воздух, это благородство пейзажа, это мирное преобразование всех живых существ материнской силой и это небо, божественное своей бледностью и по мере усиления этой бледности все более возвышенное, давали мне столь новое ощущение жизни, что я с внутренним трепетом подумал: «Но возможно ли это? Возможно ли? Значит, после всего, что случилось, после всего, что я выстрадал, после стольких уклонений в сторону, после стольких позорных поступков я могу еще найти в жизни такую радость! Я могу еще *надеяться*, могу еще иметь предчувствие счастья? От кого же я получил это благословение?» Казалось, все существо мое разрасталось ввысь, вглубь и вширь, переходя свои границы, с тонким, быстрым и непрерывным трепетом. Ничто не может дать понятия о том, во что превращалось во мне едва заметное ощущение, произведенное волоском, коснувшимся моей щеки.

Несколько минут оставались мы в таком положении, не нарушая молчания. Вязы шумели. Дрожание бесчисленных желтых и фиолетовых цветов, обвивавших стену под окном, чаровало мои глаза. Сгущенный и теплый аромат подымался к солнцу в ритм дыханию.

Вдруг Джулиана подняла голову, отстранилась, побледнела и с потемневшими глазами, искаженным, как от тошноты, ртом сказала:

– Этот запах ужасен. От него кружится голова. Мама, тебе не становится дурно от него?

И повернулась, чтобы уйти; пошатнулась, сделала несколько неуверенных шагов; потом поспешно вышла из комнаты, а за ней вышла и моя мать.

Я смотрел им вслед, находясь еще во власти первоначального ощущения, во власти грез.

II

Моя вера в будущее росла с каждым днем. Я почти ни о чем не помнил. Слишком утомленная душа моя забывала страдать. В некоторые часы полной беспомощности все куда-то уходило, рассеивалось, таяло, погружалось в первоначальный поток, становилось неузнаваемым. Потом, после этого странного внутреннего разложения, мне казалось, что в меня входило новое начало жизни, что мною овладевала новая сила.

Мое реальное существование составлялось из множества невольных, самодовлеющих, бессознательных, инстинктивных ощущений. Между внутренним и внешним миром установилась какая-то игра мгновенных, едва уловимых действий и реакций, вибрирующих бесконечными отражениями; и каждое из этих неисчислимых отражений превращалось в изумительное физическое явление. Все существо мое менялось от того, что происходило вне меня: от легкого дуновения ветра, от тени, от вспышки света.

Тяжелые болезни души, как и болезни тела, обновляют человека; и духовные выздоровления не менее телесных выздоровлений полны сладостных переживаний восторга. Перед цветущим кустом, перед веткой, покрытой маленькими почками, перед побегом, выросшим на старом, почти высохшем стволе, перед самыми незначительными дарами земли, перед самыми простыми преобразованиями весны я останавливался, наивно и искренно изумленный.

Часто по утрам я совершал с братом прогулки. В эти часы все было свежо, легко, свободно. Общество Федерико очищало и подкрепляло меня, как благотворный деревенский воздух. Федерико было тогда двадцать семь лет; он почти все время жил в деревне трудовой, умеренной жизнью; казалось, он воплощал в себе простоту и искренность деревни. Лев Толстой, запечатлев на его прекрасном, ясном челе поцелуй, назвал бы его своим сыном.

Мы шли по полям, без определенной цели, изредка перекидываясь словами. Он хвалил плодородие наших владений, объяснял мне нововведения в обработке земли, демонстрировал мне улучшения. Дома наших крестьян были просторны, светлы и чисты. Наши скотные дворы были полны здорового, хорошо откормленного скота. Наши фермы были в образцовом порядке. Дорогой Федерико часто останавливался, чтобы рассмотреть какое-нибудь растение. В его мужественных руках была изумительная нежность, когда они касались маленьких зеленых листочков на новых побегах.

Иногда мы проходили по фруктовым садам. Персиковые, грушевые деревья и яблони, вишни, сливы, абрикосы были сплошь усыпаны миллионами цветов; внизу, благодаря прозрачности их розоватых и серебристых лепестков, свет, если можно так сказать, претворялся в божественную влажность, во что-то неопишимо зыбкое и приятное; сквозь крохотные промежутки легких гирлянд небо приобретало одушевленную нежность взгляда.

В то время как я восторгался цветами, он говорил мне, думая о будущих сокровищах осени:

– Увидишь, увидишь плоды.

«Я увижу их, – повторял я про себя. – Увижу, как опадут цветы, народятся листья, будут расти, румяниться, зреть и падать плоды». Эта уверенность, уже сорвавшаяся с уст моего брата, имела для меня серьезное значение, как будто она относилась к какому-то обещанному и ожидаемому счастью, которое должно было осуществиться именно в этот период жизни деревьев, в промежуток времени между цветением и появлением плода. Я еще не высказал своего намерения моему брату, а он уже знал, что я отныне останусь здесь, в деревне, с ним, с нашей матерью; вот почему он говорит, что я увижу плоды на его деревьях. Он *уверен*, что я увижу их! Значит, безусловно верно, что для меня началась новая жизнь и что это внутреннее мое чувство не обманывает меня. В самом деле, теперь все сбывается с какой-то странной, необычайной легкостью, с избытком любви. Как я люблю Федерико! Никогда еще я не любил его так

сильно. Таковы были мои внутренние размышления, несколько бессвязные, сбивчивые, порой ребяческие благодаря своеобразному душевному настроению, побуждавшему меня видеть во всяком незначительном факте благоприятное знамение, благую примету.

Наиболее глубокая радость моя состояла в сознании того, что я далек от прошлого, далек от некоторых мест, от некоторых лиц, недоступен для них. Порою, желая еще больше насладиться спокойствием деревенской весны, я представлял себе пространство, отделявшее меня от того мрачного мира, где я столько страдал, и такими дурными страданиями. Неопределенный страх нередко сжимал мою душу и заставлял меня с беспокойством искать вокруг себя доказательств моей настоящей безопасности, заставлял меня брать под руку брата, читать в его глазах несомненную любовь и защиту.

Я слепо доверял Федерико. Мне хотелось бы, чтобы он не только любил меня, но и властвовал надо мной; я хотел уступить ему, как более достойному, первородство и подчиняться его совету, смотреть на него как на руководителя, повиноваться ему. Рядом с ним мне не грозила бы опасность сбиться с дороги, потому что он знал прямой путь и шел по этому пути твердым шагом; к тому же у него была мощная рука и он защитил бы меня. Это был примерный человек: добрый, сильный, разумный. Для меня не было картины величественнее, чем эта молодость, преданная религии «сознательного творения добра», посвятившая себя любви к Земле. Казалось, глаза его благодаря постоянному созерцанию зелени приняли прозрачную зеленую окраску.

– Иисус Земли, – назвал я его однажды, улыбаясь.

Это случилось в чистое, невинное утро, одно из тех, которые вызывают образ первобытных зорь детства Земли. Мой брат, стоя на меже пашни, разговаривал с группой земледельцев. Он был на целую голову выше обступивших его; его спокойные жесты свидетельствовали о простоте его слов. Старики, поседевшие в мудрости, зрелые люди, уже близкие к преклонным летам, слушали этого юношу. Их узловатые тела несли на себе печать великого общего дела. Так как поблизости не было ни одного дерева, а колосья были еще низки, то их фигуры отчетливо вырисовывались в облитом священным светом пространстве.

Увидя, что я направляюсь к нему, брат отпустил своих собеседников и пошел мне навстречу. Тогда из уст моих непроизвольно вырвалось приветствие:

– Иисус Земли, осанна!

За всеми растениями он ухаживал с бесконечной заботливостью. Ничто не ускользало от его зорких, почти всевидящих глаз. Во время наших утренних прогулок он то и дело останавливался, чтобы освободить какой-нибудь листочек от улитки, гусеницы, муравья. Однажды, когда мы гуляли, я, не обращая внимания на эту привычку брата, бил концом палки по траве, и нежные зеленые стебли срезались и отлетали при каждом ударе. Ему это доставляло страдание; он взял, кротким, правда, жестом, у меня из рук палку и покраснел при мысли, что, быть может, эта его жалость покажется мне излишней, преувеличенной сентиментальностью. О эта краска на столь мужественном лице!..

В другой раз, надламывая цветущую ветку яблони, я заметил в глазах Федерико тень сожаления. Я тотчас же отдернул руку, говоря:

– Если тебе это неприятно...

Он громко рассмеялся:

– Да нет же, нет... Оборви хоть все дерево.

Между тем ветка была уже надломлена, держалась только несколькими живыми волокнами и висела вдоль ствола; и этот излом, влажный от сока, имел в самом деле вид чего-то страдающего; и эти хрупкие цветы, частью телесного цвета, частью белые, похожие на соцветия диких роз, таившие в себе плод, отныне обреченные на гибель, беспрерывно трепетали в воздухе.

Тогда, чтобы как-то смягчить жестокость этого поступка, я сказал:

– Это – для Джулианы.

И, оборвав последние живые волокна, я отделил сломанную ветку.

III

Не одну только эту ветку я принес Джулиане, но и много других. Я возвращался в Бадиолу всегда нагруженный цветочными дарами. Однажды утром, держа в руках связку белого терновника, я встретил в передней свою мать. Я был разгорячен, тяжело дышал, был несколько взволнован.

– Где Джулиана? – спросил я.

– Наверху, в своих комнатах, – ответила она, смеясь.

Я взбежал по лестнице, миновал коридор, вошел прямо в комнату и закричал:

– Джулиана, Джулиана! Где ты?

Мария и Наталья, в восторге при виде цветов, ликующие, расшалившиеся, с шумным весельем бросились мне навстречу.

– Иди, иди, – кричали они мне, – мама тут, в спальне. Иди!

И я с еще большим волнением переступил этот порог; оказался в присутствии улыбающейся и смущенной Джулианы и бросил к ее ногам связку цветов.

– Посмотри!

– Ах, какая прелесть! – воскликнула она, наклоняясь над свежим благоухающим сокровищем.

На ней была одна из ее любимых широких туник зеленого цвета, похожего на зелень листьев алоэ. Волосы ее, еще не причесанные, плохо сдерживались шпильками; они ниспадали ей на затылок, закрывая уши густыми прядями. Аромат терновника, напоминавший запах тимьяна и горького миндаля, окутывал ее всю, распространяясь по комнате.

– Осторожней, не уколись, – сказал я ей. – Посмотри на мои руки.

И я показал ей еще не зажившие царапины, как бы желая придать больше ценности своему дару. «О, если б она теперь взяла мои руки», – подумал я. И в уме моем всплыло смутное воспоминание о том далеком-далеком дне, когда она поцеловала мои руки, исцарапанные терновником, и хотела высосать капли крови, выступавшие одна за другой. «Если б она теперь взяла мои руки и в одно движение это вложила все свое прощение, которым отдала бы мне себя всю!»

В те дни я непрерывно ждал подобного момента. На самом деле я и сам не знал, почему во мне жила такая вера; но я был уверен, что Джулиана, раньше или позже, вернет мне себя именно таким образом, простым безмолвным движением, в которое сумеет «вложить все свое прощение и которым отдаст мне себя всю».

Она улыбнулась. Тень страдания появилась на ее сильно побледневшем лице и в ее глубоко запавших глазах.

– Чувствуешь ли ты себя лучше с тех пор, как ты здесь? – спросил я, подходя к ней ближе.

– Да, да, лучше, – ответила она.

И после небольшой паузы спросила:

– А ты?

– О, я уже выздоровел. Разве ты не видишь?

– Да, правда.

Когда она разговаривала со мной в те дни, она говорила с какой-то особенной нерешительностью, казавшейся мне полной очарования, но теперь едва уловимой. Казалось, что она все время была озабочена тем, чтобы удержать слово, готовое сорваться с ее уст, и произносила совершенно другое. Кроме того, ее голос стал, если можно так выразиться, более *женственным*; он утратил первоначальную твердость и часть звучности; стал туманнее, как звук инструмента, заглушенный сурдинкой. Но все же поскольку во всех своих проявлениях она

была так нежна со мной, то что же еще мешало нам раскрыть друг другу объятия? Что еще удерживало нас на некотором расстоянии друг от друга?

В этот период, который в истории моей души останется вечно таинственным, моя врожденная проницательность казалась совершенно утраченной. Все мои чудовищные способности к анализу, те самые, которые доставили мне столько мучений, казались истощенными. Власть этих беспокойных способностей как бы разрушилась. Бесчисленные ощущения, бесчисленные переживания того времени кажутся мне теперь непонятными, необъяснимыми, потому что у меня нет критерия для определения их природы. Между этим периодом моей жизни и другими был какой-то разрыв, отсутствовало связующее звено.

Когда-то я слышал сказку о том, как молодой принц, после полного приключений странствования, достиг наконец возможности увидеть женщину, которую он искал с таким рвением. Юноша трепетал от надежды, в то время как находившаяся рядом женщина улыбалась ему. Но покрывало делало улыбающуюся женщину недостижимой. Это было покрывало из неведомой ткани, столь тонкой, что она сливалась с воздухом; и все же юноша не мог прижать к своей груди возлюбленную сквозь подобное покрывало.

Эта сказка помогает мне до некоторой степени представить себе то своеобразное состояние, в котором я тоже находился по отношению к Джулиане. Я чувствовал, что нечто непознаваемое еще удерживало меня на некотором расстоянии от нее. Но в то же самое время я верил в «простое безмолвное движение», которое рано или поздно должно разрушить препятствие и сделать меня счастливым.

Как нравилась мне тогда комната Джулианы! Она была обита светлой тканью, несколько полинявшей, с довольно выцветшим рисунком; в глубине ее был альков. Каким ароматом пропитал ее белый терновник!

– Какой острый этот запах, – сказала Джулиана, заметно побледнев. – Он ударяет в голову. Ты чувствуешь?

И подошла к окну, чтобы открыть его. Потом добавила:

– Мария, позови мисс Эдит.

Вошла гувернантка.

– Прошу вас, Эдит, отнесите эти цветы в залу, где стоит фортепиано. Поставьте их в вазы. Смотрите не уколитесь.

Мария и Наталья захотели нести часть цветов. Мы остались одни. Она снова подошла к окну; прислонилась к подоконнику, отвернувшись от света.

– Ты собираешься что-нибудь делать? – спросил я. – Хочешь, чтобы я ушел?

– Нет, нет. Останься. Садись. Расскажи мне о своей утренней прогулке. Где ты был сегодня?

Она произнесла эти фразы с некоторой торопливостью. Так как подоконник был на уровне ее талии, то она опиралась на него локтями, и ее торс прогибался назад, вдаваясь в прямоугольный просвет окна. Лицо, обращенное прямо ко мне, было все погружено в тень, особенно затенены были глаза; но волосы, освещенные падающим сверху светом, образовывали тонкий ореол; плечи в верхней части тоже были освещены. Одна нога, на которую сильнее давила тяжесть тела, несколько выступала из-под платья, открывая нижнюю часть серого чулка и украшенную блестками туфлю. Вся фигура в этой позе, в этом освещении, заключала в себе какую-то особенную силу обольщения. Полоска голубого, дышащего негою пейзажа виднелась за окном, между створками рам, позади этой головки.

И вдруг, как бы осененный мгновенным откровением, я вновь увидел тогда в ней желанную женщину, и в крови моей зажглось воспоминание и жажда ласк. Я продолжал разговаривать, не сводя с нее пристального взгляда. И чем больше я смотрел на нее, тем сильнее волновался; и она, конечно, должна была читать это в моих глазах, потому что не могла скрыть своего беспокойства. И я подумал с острой внутренней тревогой: «А если осмелиться? Если подойти

к ней совсем близко и обнять ее?» Однако даже кажущаяся непринужденность, которую я старался вложить в нашу бесхитростную беседу, покинула меня. Я смутился. Это затруднительное положение стало невыносимым.

Из соседних комнат доносились неясные голоса Марии, Натальи и Эдит.

Я поднялся, подошел к окну, стал рядом с Джулианой, хотел было наклониться к ней, чтобы произнести наконец слова, которые я так часто повторял про себя в воображаемых разговорах. Но страх, что мне могут помешать, удержал меня. Я подумал, что этот момент, быть может, неудобен, что, по всей вероятности, я не успел бы сказать ей все, открыть ей все свое сердце, рассказать ей о моей внутренней жизни за последние недели, о таинственном выздоровлении моей души, о пробуждении самых нежных свойств моего существа, о глубине моего нового чувства, о постоянстве моей надежды. Я подумал, что не успел бы рассказать ей о самых незначительных недавних происшествиях, сделать эти маленькие наивные признания, ласкающие слух любящей женщины, полные свежей правды, более убедительные, нежели любое красноречие. Действительно, мне нужно было уверенно убеждать ее в чем-то большом и, быть может, невероятном для нее после стольких обманов: нужно было убеждать ее в том, что мое настоящее возвращение не было обманчивым, а искренним, окончательным, необходимо обусловленным жизненной потребностью всего моего существа. Разумеется, она еще не доверяла мне; и, конечно, в этом ее недоверии коренилась причина ее сдержанности. Между нами еще лежала тень ужасного воспоминания. Я должен был отогнать эту тень, вновь слить мою душу с ее душой так тесно, чтобы ничто не могло больше стать между ними. И это должно было произойти в благоприятный час, в таинственном, безмолвном, населенном лишь воспоминаниями месте: в Виллалилле.

Между тем мы молчали, стоя друг возле друга в углублении окна. Из соседних комнат доносились неясные голоса Марии, Натальи и Эдит. Аромат белых цветов терновника рассеялся. Между портьерами, свесившимися с арки алькова, можно было видеть в глубине постель, куда то и дело устремлялись мои жадные взоры, притягиваемые полумраком.

Джулиана наклонила голову, потому что и она, должно быть, чувствовала томительную и беспокойную тяжесть молчания. Легкий ветер колыхал выующийся на ее висках локон. Движение этого темно-коричневого локона, с несколькими ниточками, становившимися от света золотыми, на этом бледном виске вызывало во мне истому. И, не сводя глаз с Джулианы, я вновь увидел на ее шее маленькую темную родинку, которая когда-то столько раз рождала во мне искру страсти.

Тогда, не будучи более в состоянии владеть собой, со смесью страха и отваги, я поднял руку, чтобы пригладить этот локон; и мои дрожащие пальцы, скользнув по волосам, коснулись ее уха и шеи, но едва заметно, с самой легкой лаской.

– Что ты делаешь? – проговорила Джулиана, вся вздрогнув, остановив на мне растерянный взгляд, трепеща, быть может, сильнее меня.

И отошла от окна; чувствуя, что я готов идти вслед за ней, она испуганно заторопилась, словно желая обратиться в бегство.

– Но почему, почему, Джулиана? – воскликнул я, останавливаясь. И тут же сказал: – Да, конечно, я недостоин еще. Прости меня!

В этот момент начали звонить два колокола в часовне. В комнату с криком радости ворвались Мария и Наталья; и одна за другой они повисли у матери на шее, покрывая лицо ее поцелуями; от нее девочки перешли ко мне, а я поднял их, одну за другой, на руки и крепко обнял.

Оба колокола громко звонили; вся Бадиола казалась наполненной дрожанием бронзы. Была Святая Суббота, канун Великого Воскресения.

IV

После полудня, в эту самую субботу, меня охватил приступ необычайной грусти.

В Бадюлу прибыла почта; мы с братом просматривали в бильярдной газеты. Случайно мне бросилось в глаза упомянутое в одной из хроник имя Филиппо Арборио. Внезапное волнение овладело мной. Так легкий толчок поднимает муть в сосуде с отстоявшейся водою.

Я помню: стоял туманный полдень, озаренный словно усталым беловатым отблеском. Мимо стеклянной веранды, выходявшей на площадку, прошла Джулиана под руку с моею матерью. Они о чем-то говорили. Джулиана держала книгу и шла с утомленным видом.

С непоследовательностью пронсящих во сне образов в моей душе всплыло несколько обрывков прошлой жизни: Джулиана перед зеркалом, в ноябрьский день; букет белых хризантем; мое волнение, когда я услышал арию Орфея; слова, написанные на заглавном листе «Тайны»; цвет платья Джулианы; мои рассуждения у окна; покрытое потом лицо Филиппо Арборио; сцена в раздевальной фехтовального зала. Я подумал, дрожа от страха, как человек, неожиданно наклонившийся над бездной: «А что, если мне не удастся спастись?»

Побежденный гнетущим настроением, чувствуя потребность остаться одному, чтобы посмотреть в глубь своей души, чтобы взглянуть в лицо своему страху, я простился с братом, вышел из залы и пошел в свои комнаты.

Мое волнение было смешано с гневным нетерпением. Я был похож на человека, который, среди отрадных переживаний воображаемого выздоровления, вполне уверенный в том, что будет еще жить, чувствует вдруг острый приступ прежней болезни, замечает, что неисцелимая болезнь еще гнездится в его организме, и он вынужден внимательно наблюдать за собой, чтобы убедиться в ужасной истине. «А что, если мне не удастся спастись? Но почему же?»

В странном забвении, в которое погрузилось все прошлое, в этом своего рода затмении, которое, казалось, охватило целую полосу моего сознания, утратилось, рассеялось также и сомнение относительно Джулианы, это отвратительное сомнение. Слишком велика была потребность моей души убаюкать себя иллюзией, верить и надеяться. Святая рука моей матери, лаская волосы Джулианы, снова зажгла для меня ореол вокруг этой головы. Благодаря одному из сентиментальных заблуждений, нередких в период слабости, видя обеих женщин, живущих одной и той же жизнью в столь нежном согласии, я смешал их в одной и той же лучезарности чистоты.

Теперь же незначительного факта, простого имени, случайно прочитанного в газете, пробуждения какого-то смутного воспоминания было достаточно, чтобы взволновать меня, испугать, раскрыть предо мною бездну, в которую я не смел бросить решительный и глубокий взгляд, потому что моя мечта о счастье, упорно уцепившись за меня, удерживала и тянула меня назад. Сначала я блуждал в какой-то мрачной неопределенной тревоге, над которой временами проносились вспышки недоверия. «А может быть, она не чиста. Тогда что? – Филиппо Арборио или другой... Кто знает! – Узнав об ее вине, мог бы я простить ей? – Какая вина? Какое прощение? Ты не имеешь права судить ее, не имеешь права поднимать голос. Слишком часто она молчала, на этот раз должен и ты молчать. – А счастье? – О своем счастье или счастье обоих ты думаешь? Разумеется, о счастье обоих, потому что простое отражение *ее* скорби омрачило бы всякую твою радость. Ты предполагаешь, что если ты удовлетворен, то и она тоже может быть удовлетворена: ты со своей прошлой жизнью, полной непрерывной распущенности, и она со своей прошлой жизнью, полной непрерывного мученичества. Счастье, о котором ты грезишь, всецело покоится на уничтожении прошлого. Почему же, если бы она в самом деле утратила чистоту, ты не мог бы кинуть камень или положить каменную плиту на ее вину так же, как на свою? Почему же, раз ты хочешь заставить забыть, не забудешь сам? Почему, наконец, желая стать новым человеком, всецело отрешившимся от прошлого, ты не мог бы смот-

реть и на нее как на новую женщину, при равных условиях? Подобное неравенство могло бы быть, пожалуй, худшей из твоих несправедливостей. – А Идеал? Как же Идеал? Мое счастье было бы возможно лишь тогда, когда я мог бы признать в Джулиане безусловно высшее существо, непогрешимое, достойное безмерного обожания; и в понимании своего совершенства, в сознании собственного нравственного величия она тоже обрела бы большую часть своего счастья. Я не мог бы отвлечься ни от моего, ни от ее прошлого, потому что это особенное счастье не могло бы существовать без порочности моей прошлой жизни и без этого непобедимого и почти сверхчеловеческого героизма, перед образом которого всегда преклонялась моя душа. – Но знаешь ли ты, сколько эгоизма в этой твоей мечте и сколько в ней возвышенного идеала? Заслуживаешь ли ты еще счастья и этой высшей награды? На каком основании? Ведь таким образом твоя долгая порочная жизнь привела бы тебя не к искуплению, а к награде...»

Я встряхнулся, чтобы прервать эти мысли. «В конце концов дело лишь в старом, довольно смутном, случайно пробудившемся теперь сомнении. Это нелепое беспокойство рассеется. Я облакаю какую-то тень в реальную оболочку. Через два-три дня после Пасхи мы поедем в Виллалиллу; и там я узнаю, там несомненно *почувствую* правду. Но разве не *подозрительна* эта глубокая неизменная печаль в ее глазах? Этот ее растерянный вид, эта тень непрерывной задумчивости, залегшей между ее бровями, это безмерное утомление, проявляющееся в некоторых ее позах, эта тревога, которую ей не удастся скрыть при моем приближении, – разве все это не *подозрительно*?» Правда, подобные двусмысленные признаки можно было бы объяснить и в благоприятном смысле. Тем не менее, захлестнутый волною усилившейся тоски, я встал и подошел к окну с инстинктивным желанием погрузиться в созерцание внешнего мира, чтобы найти в нем какое-нибудь соответствие моему душевному состоянию, какое-нибудь откровение или умиротворение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.